

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

12 '88





Владимир ВОЙНОВИЧ

**ЖИЗНЬ
И
НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛДАТА
ИВАНА
ЧОНКИНА**

Роман-анекдот

Книга первая

**«ЛИЦО
НЕПРИКОСНОВЕННОЕ»**

Было это или не было, теперь уж точно сказать нельзя, потому что случай, с которого началась (и тянется почти что до наших дней) вся история, произошел в деревне Красное так давно, что и очевидцев с тех пор почти не осталось. Те, что остались, рассказывают по-разному, а некоторые и вовсе не помнят. Да, по правде сказать, и не такой это случай, чтоб держать его в памяти столько времени. Что касается меня, то я собрал в кучу все, что слышал по данному поводу, и прибавил кое-что от себя, прибавил, может быть, даже больше, чем слышал. В конце концов история эта показалась мне настолько занятной, что я решил изложить ее в письменном виде, а если вам она покажется неинтересной, скучной или даже глупой, так плюньте и считайте, что я ничего не рассказывал.

Произошло это вроде бы перед самой войной не то в конце мая, не то в начале июня 1941 года — в этих примерно пределах.

Стоял обыкновенный, жаркий, как бывает в это время года, день. Все колхозники были заняты на полевых работах, а Нюра Беляшова, которая служила на почте, прямого отношения к колхозу не имела и была в тот день выходная, копалась на своем огороде — окучивала картошку.

Было так жарко, что, пройдя три ряда из конца в конец огорода, Нюра совсем уморилась. Платье на спине и под мышками взмокло и, подсыхая, становилось белым и жестким от соли. Пот затекал в глаза. Нюра остановилась, чтобы поправить выбившиеся из-под косынки волосы и посмотреть на солнце — скоро ли там обед.

Солнце она не увидела. Большая железная птица с перекошенным клювом, заслонив собой солнце и вообще все небо, падала прямо на Нюру.

— Ай! — в ужасе вскрикнула Нюра и, закрыв лицо руками, замертво повалилась в борозду.

Кабан Борька, рывший землю возле крыльца, отскочил в сторону, но, увидев, что ему ничто не угрожает, вернулся на прежнее место.

Прошло сколько-то времени. Нюра очнулась. Солнце жгло спину. Пахло сухой землей и навозом. Где-то чирикали воробьи и кудахтали куры. Жизнь продолжалась. Нюра открыла глаза и увидела под собой комковатую землю.

«Что же это я лежу?» — подумала она недоуменно и тут же вспомнила про железную птицу.

Нюра была девушка грамотная. Она иногда читала «Блокнот агитатора», который регулярно выписывал парторг Килин. В «Блокноте» недвусмысленно говорилось, что всяческие суеверия достались нам в наследство от темного прошлого и их надо решительно искоренять. Эта мысль казалась Нюре вполне справедливой. Нюра повернула голову вправо и увидела свое крыльцо и кабана Борьку, который по-прежнему рыл землю. В этом не было ничего сверхъестественного. Борька всегда рыл землю, если находил для этого подходящее место. А если находил неподходящее, тоже рыл. Нюра повернула голову дальше и увидела чистое голубое небо и желтое слепящее солнце.

Осмелев, Нюра повернула голову влево и снова упала ничком. Страшная птица существовала реально. Она стояла недалеко от Нюриного огорода, широко растопырив большие зеленые крылья.

«Сгинь!» — мысленно приказала Нюра и хотела осенить себя крестным знаменем, но креститься, лежа на животе, было неудобно, подниматься она боялась.

Рисунки
Г. Новожилова

И вдруг ее словно током пронзило: «Так это же аэроплан!» И в самом деле. За железную птицу Нюра приняла обыкновенный самолет «У-2», а перекошенным клювом показался ей неподвижно застывший воздушный винт.

Едва перевалив через Нюрину крышу, самолет опустился, пробежал по траве и остановился возле Федьки Решетова, чуть не сбив его правым крылом. Федька, рыжий мордатый верзила, известный больше под прозвищем Плечевой, косил здесь траву.

Летчик, увидев Плечевого, расстегнул ремни, выскочил из кабины и крикнул:

— Эй, мужик, это что за деревня?

Плечевой несколько не удивился, не испугался и, приблизившись к самолету, охотно объяснил, что деревня называется Красное, а сперва называлась Грязное, а еще в их колхоз входят Клюквино и Ново-Клюквино, но они на той стороне реки, а Старо-Клюквино, хотя и на этой, относится к другому колхозу. Здешний колхоз называется «Красный колос», а тот — имени Ворошилова. В «Ворошилове» за последние два года сменилось три председателя: одного посадили за воровство, другого — за растление малолетних, а третий, которого прислали для укрепления, сперва немного поукреплял, а потом как запил, так и пил до тех пор, пока не пропил личные вещи и колхозную кассу, и допился до того, что в припадке белой горячки повесился у себя в кабине, оставив записку, в которой было одно только слово «эх» с тремя восклицательными знаками. А что это «Эх!!!» могло значить, так никто и не понял. Что касается здешнего председателя, то он хотя тоже пьет без всякого удержу, однако на что-то еще надеется.

Плечевой хотел сообщить летчику еще ряд сведений из жизни окрестных селений, но тут набежал народ.

Первыми подросли, как водится, пацаны. За ними спешили бабы, которые с детишками, которые беременные, а многие и с детишками, и беременные одновременно. Были и такие, у которых один ребяенок за подол цепится, другой за руку, вторая рука держит грудного, а еще один в животе попевает. К слову сказать, в Красном (да только ли в Красном?) бабы рожали охотно и много, и всегда были либо беременные, либо только что после родов, а иногда и вроде только что после родов, а уже и опять беременные.

За бабами шкандыбали старики и старухи, а с дальних полей, побросав работу, бежали и остальные колхозники с косами, граблями и тяпками, что придавало этому зрелищу явное сходство с картиной «Восстание крестьян», висевшей в районном клубе.

Нюра, которая все еще лежала у себя в огороде, снова открыла глаза и приподнялась на локте.

«Господи,— сверкнула в мозгу ее тревожная мысль,— я здесь лежу, а люди давно уж глядят».

Спохватившись на свои, еще не окрепшие от испуга ноги, она проворно пролезла между жердями в заборе и кинулась к постепенно густевшей толпе. Сзади стояли бабы. Нюра, расталкивая их локтями, стонала:

— Ой, бабы, пустите!

И бабы расступались, потому что по голосу Нюры понимали, что ей край надо пробиться вперед.

Потом пошел слой мужиков. Нюра растолкала и их, говоря:

— Ой, мужики, пустите!

И наконец очутилась в первом ряду. Она увидела совсем близко самолет с широкой масляной полосой аж по всему фюзеляжу и летчика в коричневой кожаной куртке, который, прислонившись к крылу, растерянно глядел на подступавший народ и вертел на пальце потертый шлем с дымчатыми очками.

Рядом с Нюрой стоял Плечевой. Он посмотрел на нее сверху вниз, засмеялся и сказал ласково:

— Ты гляди, Нюрка, живая. А я думал, тебе уже все. Я ведь аэроплан первый заметил, да. Я тут у бугра сено косил, когда гляжу: летит. И в аккурат, Нюрка, на твою крышу, на трубу прямо, да. Ну, думаю, сейчас он ее счесет.

— Бреешь ты все,— сказал Николай Курзов, стоявший от Плечевого справа.

Плечевой споткнулся на полуслове, посмотрел на Николая тоже сверху вниз, поскольку был выше на целую голову, и, подумав, сказал:

— Брешет собака. А я говорю. А ты свою варезку закрой да и не раскрывай, пока я тебе не дам разрешения. Понял? Не то я тебе на язык наступлю.

После этого он поглядел на народ, подмигнул летчику и, оставшись доволен произведенным впечатлением, продолжал дальше:

— Эроплан, Нюрка, от твоей трубы прошел вот на вершок максима. А минима и того менее. А если б он твою трубу зацепил, так мы бы тебя завтра уже обмывали, да. Я бы не пошел, а Колька Курзов пошел бы. Он до женского тела любопытный. Его прошлый год в Долгове в милиции три дня продержали за то, что он в женскую баню залез и под лавкой сидел, да.

Все засмеялись, хотя знали, что это неправда, что Плечевой это придумал сейчас. А когда перестали смеяться, Степан Луков спросил:

— Плечевой, а Плечевой, а ты когда увидал, что эроплан за трубу зацепится, испугался ай нет?

Плечевой презрительно сморщился, хотел сплюнуть, да некуда было — всюду народ. Он проглотил слюну и сказал:

— А чего мне пужаться? Эроплан не мой, и труба не моя. Кабы моя была, может, спужался б.

В это время один из мальчишек, крутившихся тут же под ногами у взрослых, изловчился и шаркнул по крылу палкой, от чего крыло загудело, как барабан.

— Ты что делаешь? — заорал на мальчишку летчик.

Мальчишка испуганно юркнул в толпу, но потом снова вылез. Палку, однако, выбросил.

Плечевой, послушав, какой звук издало крыло, покачал головой и спросил у летчика со скрытым ехидством:

— Свиной кожей обтянуто?

Летчик ответил:

— Перкалью.

— А чего это?

— Такая вещь,— объяснил летчик.— Материя.

— Чудно,— сказал Плечевой.— А я думал, он весь из железа.

— Кабы из железа,— влез опять Курзов,— его бы мотор в высоту не поднял.

— В высоту поднимает не мотор, а подъемная сила,— сказал известный своей ученостью кладовщик Гладышев.

За образованность Гладышева все уважали, однако в этих его словах усомнились.

Бабы этих разговоров не слушали, у них была своя тема. Они разглядывали летчика в упор, не стесняясь его присутствия, словно он был неодушевленным предметом, и вслух обсуждали достоинства его туалета.

— Кожанка, бабы,— чистый хром,— утверждала Тайка Горшкова.— Да еще со складками. Для их, видать, хрома не жалеют.

Нинка Курзова возразила:

— Это не хром, а шевро.

— Ой, не могу! — возмутилась Тайка.— Какое ж шевро? Шевро-то с пупырышками.

— И это с пупырышками.

— А где ж тут пупырышки?

— А ты пощупай — увидишь,— сказала Нинка.

Тайка с сомнением посмотрела на летчика и сказала:

— Я бы пощупала, да он, наверно, щекотки боится.

Летчик смутился и покраснел, потому что не знал, как на это все реагировать.

Его спас председатель Голубев, который подъехал к месту происшествия на двуколке.

Само происшествие застало Голубева в тот момент, когда он вместе с одноруким счетоводом Волковым проверял бабу Дуню на предмет самогонварения. Результаты проверки были налицо: председатель слезал с двуколки с особой осторожностью, он долго нащупывал носком сапога железную скобу, подвешенную на проволоке вместо подножки.

В последнее время пил председатель часто и много, не хуже того, что повесился в Старо-Клюквине. Одни считали, что он пил, потому что пьяница, другие находили, что по семейным причинам. Семья у председателя была большая: жена, постоянно страдавшая почками, и шестеро детей, которые вечно ходили грязные, вечно дрались между собой и много ели.

Все это было бы еще не так страшно, но, как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже.

Поначалу, когда от каждой избы все стаскивали в одну кучу, оно выглядело внушительно, и хозяйствовать над этим было приятно, а потом кое-кто спохватился и пошел тащить обратно, хотя обратно то не давали. И председатель себя чувствовал вроде той бабы, которую посадили на кучу барахла — сторожить. Окружили ее с разных сторон, в разные стороны тащат. Одного за руку схватит, другой в это время из-под нее еще что-нибудь высмыкнет, она к тому, этот убежал. Что ты будешь делать?

Председатель тяжело переживал создавшееся положение, не понимая, что не он один виноват в этом. Он все время ждал, что вот приедет какая-нибудь инспекция и ревизия, и тогда он получит за все и сполна. Но пока что все обходилось. Из района наезжали иногда разные ревизоры, инспектора и инструкторы, пили вместе с ним водку, закусывали салом и яйцами, подписывали командировочные удостоверения и уезжали подобра-поздорову. Председатель даже перестал их бояться, но, будучи человеком от природы неглупым, понимал, что вечно так продолжаться не может и что нагрянет когда-нибудь Высшая Наиответственная Инспекция и скажет свое последнее слово.

Поэтому, узнав, что за околицей, возле дома Нюры Беляшовой, приземлился самолет, Голубев ничуть не удивился. Он понял, что час расплаты настал, и приготовился встретить его мужественно и достойно. Счетоводу Волкову он приказал собрать членов правления, а сам, пожевав чаю, чтобы хоть чуть-чуть убить запах, сел в двуколку и поехал к месту посадки самолета, поехал навстречу своей судьбе.

При его появлении толпа расступилась, образовал между ним и летчиком живой коридор. По этому коридору председатель довольно твердой походкой прошел к летчику и издали протянул ему руку.

— Голубев Иван Тимофеевич, председатель колхоза, — четко назвал он себя, стараясь дышать на всякий случай в сторону.

— лейтенант Мелешко, — представился летчик.

Председателя несколько смутило, что представитель Высшей Инспекции такой молодой и в таком скромном чине, но он виду не подал и сказал:

— Очень приятно. Чем могу служить?

— Да я и сам не знаю, — сказал летчик. — У меня маслопровод лопнул и мотор заклинило. Пришлось вот сесть на вынужденную.

— По заданию? — уточнил председатель.

— Какое задание? — сказал летчик. — Я вам говорю — на вынужденную. Мотор заклинило.

«Давай, давай заливай больше», — подумал про себя Иван Тимофеевич, а вслух сказал:

— Если чего с мотором, так это можно помочь. Степан, — обратился он к Лукову, — ты бы пошуровал, чего там такое. Он у нас на тракторе работает, — объяснил он летчику. — Любую машину разберет и опять соберет.

— Ломать не строить, — подтвердил Луков и, достав из бокового кармана своей промасленной куртки разводной гаечный ключ, решительно двинулся к самолету.

— Э-э, не надо, — поспешно остановил его летчик. — Это не трактор, а летательный аппарат.

— Разницы нет, — все еще надеялся Луков. — Что там гайки, что здесь. В одну сторону крутишь — закручиваешь, в другую сторону крутишь — откручиваешь.

— Вам надо было не здесь садиться, — сказал председатель, — а возле Старо-Клюквина. Там и МТС, и МТМ — враз бы все починили.

— Когда садишься на вынужденную, — терпеливо объяснил летчик, — выбирать не приходится. Увидел — поле не засеяно, и прижался.

— Травопольной системы придерживаемся, потому и не засеяно, — сказал председатель, оправдываясь. — Может, хотите осмотреть поля или проверить документацию? Прошу в контору.

— Да зачем мне ваша контора! — рассердился летчик, видя, что председатель к чему-то клонит, а к чему, непонятно. — Хотя подождите. В конторе телефон есть? Мне позвонить надо.

— Чего ж сразу звонить? — обиделся Голубев. — Вы бы сперва посмотрели что к чему, с народом бы поговорили.

— Послушайте, — взмолился летчик, — что вы мне голову морочите? Зачем мне говорить с народом? Мне с начальством поговорить надо.

«Во какой разговор пошел, — отметил про себя Голубев. — На «вы» и без матюгов. И с народом говорить не хочет, а прямо с начальством».

— Дело ваше, — сказал он обреченно. — Только я думаю, с народом поговорить никогда не мешает. Народ, он все видит и все знает. Кто сюда приезжал, и кто чего говорил, и кто кулаком стучал по столу. А чего там говорить! — Он махнул рукой и пригласил к себе в двуколку. — Садитесь, отвезу. Звоните, сколько хотите.

Колхозники снова расступились. Голубев услужливо подсадил летчика в двуколку, потом взгромоздился сам. При этом рессора с его стороны до отказа прогнулась.

2

Дежурный по части капитан Завгородний в расстегнутой гимнастерке и давно не чищенных, покрывшихся толстым слоем пыли сапогах, изнывая от жары, сидел на крыльце штаба и наблюдал за тем, что происходило перед входом в казарму, где размещалась комендантская рота.

А происходило там вот что. Красноармеец последнего года службы Иван Чонкин, маленький, кривоногий, в сбившейся под ремнем гимнастерке, в пилотке, надвинутой на большие красные уши, и в сползающих обмотках, стоял навтыжку перед старшиной роты Песковым и испуганно глядел на него воспаленными от солнца глазами.

Старшина, упитанный розовощекий блондин, сидел, развалясь, на скамеечке из некрашенных досок и, положив ногу на ногу, покуривал папироску.

— Ложись! — негромко, словно бы нехотя скомандовал старшина, и Чонкин послушно рухнул на землю.
— Отставить! — Чонкин вскопчил на ноги.— Ложись! Отставить! Ложись! Товарищ капитан! — крикнул старшина Завгороднему.— Вы не скажете, сколько там на ваших золотых?

Капитан посмотрел на свои большие часы Кировского завода (не золотые, конечно, старшина пошутил) и лениво ответил:

— Половина одиннадцатого.

— Такая рань,— посетовал старшина,— а жара уже хоть помирай.— Он повернулся к Чонкину.— Отставить! Ложись! Отставить!

На крыльцо вышел дневальный Алимов.

— Товарищ старшина,— закричал он,— вас к телефону!

— Кто? — спросил старшина, недовольно оглядываясь.

— Не знаю, товарищ старшина. Голос такой хриплый, будто простуженный.

— Спроси, кто.

Дневальный скрылся в дверях, старшина повернулся к Чонкину.

— Ложись! Отставить! Ложись!

Дневальный вернулся, подошел к скамейке и, с участием глядя на распластанного в пыли Чонкина, доложил:

— Товарищ старшина, из бани звонят. Спрашивают: мыло сами будете получать или пришлете кого?

— Ты же видишь, я занят,— сдерживаясь, сказал старшина.— Скажи Трофимовичу — пусть получит.— И снова к Чонкину: — Отставить! Ложись! Отставить! Ложись! Отставить!

— Слышь, старшина,— полюбостовствовал Завгородний.— А за что ты его?

— Да он, товарищ капитан, разгильдяй,— охотно объяснил старшина и снова положил Чонкина.— Ложись! Службу уже кончает, а приветствовать не научился. Отставить! Вместо того чтоб как положено честь отдавать, пальцы растопыренные к уху приставит и идет не строевым шагом, а как на прогулочке. Ложись! — Старшина достал из кармана платок и вытер вспотевшую шею.— Устанешь с ними, товарищ капитан. Возишься, воспитываешь, нервы травмишь, а толку чуть. Отставить!

— А ты его мимо столба погоняй,— предложил капитан.— Пусть пройдет десять раз строевым шагом туда и обратно и поприветствует.

— Это можно,— сказал старшина и заплел папироску.— Это вы правильно, товарищ капитан, говорите. Чонкин, ты слышал, что сказал капитан?

Чонкин стоял перед ним, тяжело дыша, и ничего не отвечал.

— А вид какой! Весь в пыли, лицо грязное, не боец, а одно недоразумение. Десять раз туда и сюда, равнение на столб, шагом...— старшина выдержал паузу,— марш!

— Вот так,— оживился капитан.— Старшина, прикажи: пусть носок тянет получше, сорок сантиметров от земли. Эх, разгильдяй!

А старшина, ободренный поддержкой капитана, командовал:

— Выше ногу. Руку согнуть в локте, пальцы к виску. Я тебя научу приветствовать командиров. Кругом... марш!

В это время в коридоре штаба зазвонил телефон. Завгородний покосился на него, но не встал, уходить не хотелось.

Он закричал:

— Старшина, ты посмотри, у него обмотка размоталась. Он же сейчас запутается и упадет. Прямо со смеху умрешь. И зачем только такое чучело в армию берут, а, старшина?

А телефон в коридоре звонил все настойчивей и громче. Завгородний неохотно поднялся и вошел в штаб.

— Слушаю, капитан Завгородний,— вяло сказал он в трубку.

Расстояние между деревней Красное и местом расположения части составляло километров сто двадцать, а может быть, больше, слышимость была отвратительная, голос лейтенанта Мелешко забивали какой-то треск, музыка, и капитан Завгородний с трудом понял, в чем дело. Сначала он даже не придал сообщению лейтенанта должного значения и вознамерился вернуться к прерванному зрелищу, но по дороге от телефона к дверям до него дошел смысл того, что он только что услышал. И, осознав случившееся, он застегнул ворот гимнастерки, отер сапог о сапог и пошел докладывать начальнику штаба.

Постучав кулаком в дверь (начальник штаба был несколько глуховат), Завгородний, не дожидаясь ответа, приоткрыл ее и, переступив порог, закричал:

— Разрешите войти, товарищ майор?

— Не разрешаю,— тихо сказал майор, не поднимая головы от своих бумажек.

Но Завгородний не обратил на его слова никакого внимания, он не помнил случая, чтобы начальник штаба кому-либо что-либо разрешил.

— Разрешите доложить, товарищ майор?

— Не разрешаю.— Майор поднял голову от бумаг.— Что это у вас за вид, капитан? Не бриты, пуговицы и сапоги не начищены.

— Пошел ты...— вполголоса сказал капитан и весело поглядел майору в глаза.

По губам капитана начштаба понял примерный смысл сказанного, но не был уверен в этом, поскольку вообще не мог себе представить, чтобы младший по званию дерзил старшему. Поэтому он сделал вид, что не понял капитана, и продолжал свое:

— Если вам не на что купить крем в военторге, я вам могу подарить баночку.

— Спасибо, товарищ майор,— вежливо сказал Завгородний.— Разрешите доложить: у лейтенанта Мелешко отказал мотор, и он сел на вынужденную.

— Куда сел? — не понял начштаба.

— На землю.

— Перестаньте острить. Я вас спрашиваю, где именно приземлился Мелешко.

— Возле деревни Красное.

Начштаба подошел к висевшей на стене карте, отыскал на ней Красное.

— Что же делать? — Он растерянно посмотрел на Завгороднего.

Тот пожал плечами.

— Вы начальник, вам виднее. По-моему, надо доложить командиру полка.

Начальник штаба и раньше не отличался большой смелостью по отношению к вышестоящим командирам, но теперь, по причине глухоты, боялся их еще больше, помня, что его в любое время могут уволить в запас.

— Командир сейчас занят,— сказал он,— руководит полетами.

— Вынужденная посадка — летное происшествие,— напомнил Завгородний.— Командир должен знать.

— Значит, вы думаете, удобно отрывать командира для этого дела?

Завгородний промолчал.

— А может, Мелешко сам как-нибудь справится с этим?

Завгородний посмотрел на него с сочувствием. Начштаба перевелся сюда из пехоты и мало понимал в летном деле.

— Разрешите отлучиться из части, товарищ майор. Я сам доложу командиру.

— Вот правильно,— обрадовался майор.— Вы сами идите и доложите ему от своего имени. Вы дежурный по части и имеете право. Пойдите, Завгородний. Как же вы уйдете? А вдруг в части что-нибудь случится.

Но Завгородний уже не слышал его, он вышел и плотно закрыл за собой дверь.

Примерно через час он вернулся в штаб с командиром полка подполковником Опаликовым и с инженером полка Кудлаем. В штабе к тому времени оказался еще подполковник Пахомов, командир батальона аэродромного обслуживания. Он выяснял с начальником штаба какие-то свои дела и при появлении Опаликова хотел уйти, но тот его задержал. Стали обсуждать, что делать. Кудлай сказал, что на складе запасных моторов нет, а из дивизии раньше чем через неделю не получишь. Завгородний предложил отстыковать крылья, погрузить самолет на автомобиль и привезти сюда. Начальник штаба предложил тащить самолет на буксире, чем вызвал презрительную ухмылку Завгороднего. Подполковник Пахомов молчал и что-то отмечал в своем блокнотике, проявляя усердие в службе.

Опаликов слушал говоривших насмешливо. Потом встал, прошел из угла в угол.

— Заслушав и обсудив всю ту хреновину, которую каждый из вас нес здесь в меру своих способностей, я пришел к выводу, что самолет мы оставим на месте до прибытия мотора. Если тащить его сто двадцать километров на автомобиле, от него останутся только дрова. А пока там надо поставить караул, хотя бы от пацанов, чтобы не растащили приборную доску. Это тебя касается.— Он махнул рукой в сторону Пахомова.

Подполковник Пахомов положил блокнот на подоконник и встал.

— Извините, ничего не получится,— робко сказал он.

Хотя он был чином равен Опаликову, возрастом старше и непосредственно ему не подчинялся, Пахомов чувствовал превосходство Опаликова над собой, знал, что тот ближе к начальству, раньше его станет полковником, и поэтому обращался к нему на «вы».

— Это почему еще не получится? — нетерпеливо спросил Опаликов.

Он не любил никаких возражений.

— Вся комедантская рота вторую неделю в карауле, и сменить нечем.— Пахомов взял блокнот и заглянул в него.— Семь человек в лазарете, двенадцать на лесозаготовках, один в отпуске. Все.

— Ну хоть одного можно найти? Хоть завалищего какого-нибудь. Пусть он там поспит возле машины, лишь бы было с кого спросить.

— Ни одного, товарищ подполковник,— при этом Пахомов сделал такое жалкое лицо, что не поверить ему было никак невозможно.

— Да, дело плохо,— задумался Опаликов и тут же вскрикнул:— Ура! Нашел! Послушай-ка, пошли-ка ты этого... как его... боец у тебя есть такой зачуханный, на лошади ездит.

— Чонкин, что ли? — не поверил Пахомов.

— Конечно, Чонкин. До чего же я все-таки умный человек,— удивился Опаликов и хлопнул себя по лбу ладонью.

— Так он же... — попробовал возразить Пахомов.

— Что он?

— На кухню дрова некому будет возить.

— Незаменимых людей у нас нет,— сказал командир полка.

Этот тезис был апробирован. Подполковник Пахомов не посмел ничего возразить.

Дорогой читатель! Вы уже, конечно, обратили внимание на то, что боец последнего года службы Иван Чонкин был маленького роста, кривоногий да еще и с красными ушами. «И что это за нелепая фигура! — скажете вы возмущенно.— Где тут пример для подрастающего поколения? И где автор увидел такого в кавычках героя?» И я, автор, прижатый к стенке и пойманный, что называется, с поличным, должен буду признаться, что нигде я его не видел, выдумал из своей головы и вовсе не для примера, а просто от нечего делать. «Допустим, это так,— скажете вы недоверчиво,— но зачем же выдумывать? Неужели автор не мог взять из жизни настоящего воина-богатыря, высокого, стройного, дисциплинированного, отличника учебно-боевой и политической подготовки?»

Мог бы, конечно, да не успел. Всех отличников расхватили, и мне вот достался Чонкин. Я сперва огорчился, потом смирился. Ведь герой книги, он как ребенок — какой получился, такой и есть, за окошко не выбросишь. У других, может, дети и получше, и поумнее, а свой все равно всех дороже, потому что свой.

В предыдущей биографии Чонкина не было слишком уж ярких страниц, на которых стоило бы задерживать ваше внимание, но хотя бы в двух словах рассказать, откуда он родом, как жил и чем занимался раньше, вроде бы надо.

Итак, в одной приволжской деревне жила в свое время некая Марьяна Чонкина, обыкновенная деревенская женщина, вдова. Ее муж Василий Чонкин погиб в четырнадцатом году во время империалистической войны, которая, как известно, потом перешла в гражданскую и продолжалась очень долго. В то время, когда шли бои за Царицын, деревня, где жила Марьяна, оказалась на скрещении военных дорог, через нее проходили то красные, то белые, просторный и пустой дом Марьяны нравился и тем, и другим. Однажды в доме Марьяны целую неделю квартировал некто прапорщик Голицын, имеющий какое-то весьма неясное отношение к знаменитому роду русских князей. Потом он уехал из этой деревни и, должно быть, о ней позабыл, но деревня о нем не забыла. И когда через год, а может, и больше (никто не считал), у Марьяны родился сын, в деревне стали посмеиваться, говоря, что тут дело не обошлось без участия князя. Правда, еще подозревали в этом местного пастуха Серегу, но Серега решительно отпирался.

Сына Марьяна называла Иваном, а отчество ему дала по погибшему мужу Васильевич.

Первые шесть лет, о которых у Ивана не осталось никаких воспоминаний, он прожил в бедности. Мать его была слаба здоровьем, хозяйство совсем запустила, жила кое-как, перебиваясь с хлеба на воду, пока не утонула однажды в реке. Пошла в начале зимы полоскаться на Волге белье и провалилась. Именно к этому времени и относятся первые воспоминания Чонкина о себе и окружающем мире.

Иван не остался один, его приютили бездетные соседи и однофамильцы, а может быть, даже родственники — Чонкины. У них не было детей много лет, они даже подумывали, не взять ли кого из приюта, а тут подвернулся такой вот случай. Чонкина одели, обули, а когда он малость подрос, стали приучать понемногу к хозяйству. То сено пошлют ворошить, то картошку в погреб перебирать, то еще чего по хозяйству. За это и полатились.

В известное время стали искать в деревне кулаков, да ни одного не могли найти. А приказано было найти обязательно, хотя бы для примера. Тогда нашли



Чонкиных, которые эксплуатировали чужой, да к тому же еще и детский труд. Чонкиных сослали, а Иван попал в детский дом, где его больше двух лет почем зря мучили арифметикой. Сначала он все это покорно переносил, но когда дело дошло до деления целых чисел с остатком, не выдержал и дал деру в свою родную деревню.

К тому времени он уже немного подрос и у него доставало сил, чтобы затянуть супонь. Ему дали ло-

шадь и послали работать на молочно-товарную ферму. И, не забывая о высоком происхождении Чонкина, говорили:

— Князь, запряжешь Чалого, поедешь навоз возить.

В армии его так не звали, потому что не знали этого прозвища, а в облике его ничего княжеского не было. Командир батальона Пахомов, встретив Чонкина в первый раз, сказал не задумываясь:



— На конюшню.

Сказал, как приклеил. На конюшне Чонкину было самое место. С тех пор он и сдил все время на лошади — возил на кухню дрова и картошку. Со службой своей он освоился быстро и быстро усвоил ее основные законы, как, например: «Боец спит — служба идет», «Не спешит исполнять приказание, его могут и отменить» и т. д., и т. п. И хотя за всю службу он не стал, подобно своим сверстникам, ни

механиком, ни мотористом, жизнью своей, если бы не старшина, Чонкин был бы доволен вполне. Его не посылали в наряды, не заставляли мыть в казарме полы, освобождали от строевой подготовки. Он даже в казарме почти не бывал, зимой спал обычно на кухне, а летом в конюшне на сене. Имея прямое отношение к кухне, питался по норме № 5, то есть по летной норме. Только от одной всеобщей обязанности он не был освобожден — от политзанятий.

Летом, в хорошую погоду, политзанятия проходили обычно не в помещении, а на опушке небольшой рощицы, в стороне от городка. Чонкин, как всегда, опоздал, но на этот раз не по своей вине. Сперва его воспитывал старшина, потом повар Шурка в самый последний момент послал его на склад за крупой. Кладовщика на складе не оказалось, пришлось бегать по всему городку разыскивать. Когда Чонкин приехал наконец на лошади в рощу, все были уже в сборе. При появлении Чонкина руководитель занятий старший политрук Ярцев весьма тонко съязвил в том духе, что, мол, раз Чонкин явился, значит, теперь все в порядке — можно и начинать.

Бойцы расположились на небольшой лужайке вокруг широкого пня, на котором сидел старший политрук Ярцев.

Чонкин разнуздан лошадь и привязал ее неподалеку к дереву, чтобы она могла щипать траву, а сам себе выбрал место впереди бойцов, подалеке от руководителя занятий. Он сел, поджав под себя ноги, и только после этого огляделся. И тут же понял, что место выбрал самое неудачное. Рядом с ним, глядя на него насмешливыми голубыми глазами, сидел его заклятый враг Самушкин. Этот Самушкин никогда не упускал случая, чтобы устроить Чонкину какую-нибудь пакость: в столовой смешивал сахар с солью, в казарме ночью (в тех редких случаях, когда Чонкину все же приходилось там спать) связывал вместе брюки и гимнастерку, и Чонкин из-за этого опаздывал на построение. А однажды Самушкин устроил Чонкину «велосипед» — вложил спящему между пальцев ног клочки бумаги и поджег. За это он получил два наряда вне очереди, а Чонкин трое суток хромал.

Увидев Самушкина, Чонкин понял, что лучше бы он сел в муравейник, потому что по игривому настроению Самушкина сразу понял, что добра от него ждать нечего.

Проходили тему «Моральный облик бойца Красной Армии». Старший политрук Ярцев достал из лежавшего на коленях большого желтого портфеля конспект, полистал его, вкратце напомнил бойцам то, что проходили на прошлых занятиях, и спросил:

— Кто желает выступить? Чонкин? — удивился он, заметив, что Чонкин дернул рукой.

Чонкин встал, оправил под ремнем гимнастерку и, переминаясь с ноги на ногу, уставился Ярцеву прямо в глаза. Так они смотрели друг на друга довольно долго.

— Ну что же вы не отвечаете? — не выдержал Ярцев.

— Не готов, товарищ старший политрук, — нерешительно пробормотал Чонкин, опуская глаза.

— Зачем же вы тогда поднимали руку?

— Я не поднимал, товарищ старший политрук, я жука доставал. Мне Самушкин бросил за шею жука.

— Жука? — зловещим голосом переспросил Ярцев. — Вы что, товарищ Чонкин, пришли сюда заниматься или жуков ловить?

Чонкин молчал. Старший политрук встал и в волнении заходил по лужайке.

— Мы с вами, — начал он, медленно подбирая слова, — изучаем очень важную тему: «Моральный облик бойца Красной Армии». Вы, товарищ Чонкин, по политподготовке отстаете от большинства других бойцов, которые на политзанятиях внимательно слушают руководителя. А ведь не за горами инспекторская проверка. С чем вы к ней придете? Поэтому, между прочим, и дисциплина у вас хромает. Прошлый раз, когда я был дежурным по части, вы не вышли на физзарядку. Вот вам конкретный пример того, как

слабая политическая подготовка ведет к прямому нарушению воинской дисциплины. Садитесь, товарищ Чонкин. Кто желает выступить?

Поднял руку командир отделения Балашов.

— Вот, — сказал Ярцев, — почему-то товарищ Балашов всегда первым поднимает руку. И его всегда приятно слушать. Вы конспект приготовили, товарищ Балашов?

— Приготовил, — скромно, но с достоинством сказал Балашов.

— Я знаю, что приготовили, — сказал Ярцев, глядя на Балашова с нескрываемой любовью. — Отвечайте.

Старший политрук снова сел на пень и, чтобы показать заранее, какое истинное наслаждение доставит ему четкий и правильный ответ Балашова, закрыл глаза.

Балашов развернул общую тетрадь в картонном переплете и начал читать громко, с выражением, не вставляя ни единого своего слова.

Пока он читал, бойцы занимались кто чем. Один, спрятавшись за спиной другого, увлекся «Мадам Бовари», двое играли в «морской бой», Чонкин предавался своим мыслям. Мысли у него были разные. Внимательно наблюдая жизнь, постигая ее законы, он понимал, что летом обычно бывает тепло, а зимой холодно. «А вот если бы было наоборот, — думал он, — летом холодно, а зимою тепло, то тогда бы лето называлось — зима, а зима называлась бы лето». Потом ему пришла в голову другая мысль, еще более важная и интересная, но он тут же забыл, какая именно, и никак не мог вспомнить. И мысль об утерянной мысли была мучительна. В это время его толкнули в бок. Чонкин оглянулся и увидел Самушкина, про которого совсем позабыл. Самушкин помянул его пальцем, показывая, чтобы Чонкин наклонился, он, Самушкин, ему что-то скажет. Чонкин заколебался. Самушкин опять что-то придумал. Крикнуть в ухо, пожалуй, побоятся, старший политрук здесь, а плюнуть может.

— Чего тебе? — шепотом спросил Чонкин.

— Да ты не бойся, — прошептал Самушкин и сам наклонился к чонкинскому уху. — Ты знаешь, что у Сталина было две жены?

— Да ну тебя, — отмахнулся Чонкин.

— Верно тебе говорю. Две жены.

— Хватит болтать, — сказал Чонкин.

— Не веришь — спроси у старшего политрука.

— Да зачем мне это нужно? — упрямился Чонкин.

— Спроси, будь другом. Я спросил бы, но мне неудобно, я прошлый раз задавал много вопросов.

По лицу Самушкина было видно, что ему очень важно, чтобы Чонкин оказал ему эту пустяковую, в сущности, услугу. И Чонкин, будучи человеком добрым, не умеющим никому и ни в чем отказывать, сдался.

Балашов все еще читал свой конспект. Старший политрук его слушал рассеянно, зная, что Балашов — боец аккуратный, наверняка переписал в конспект все слово в слово из учебника и никаких неожиданностей в его ответе быть не может. Но времени оставалось мало, надо было спросить других, и Ярцев прервал Балашова.

— Спасибо, товарищ Балашов, — сказал он. — У меня к вам еще вопрос: почему наша армия считается народной?

— Потому что она служит народу, — ответил Балашов не задумываясь.

— Правильно. А кому служат армии капиталистических стран?

— Кучке капиталистов.

— Правильно. — Ярцев был очень доволен. — Я с удовольствием прослушал ваш ответ. Вы правиль-

но мыслите, делаете из пройденного материала верные выводы. Я ставлю вам «отлично» и буду просить командира батальона объявить вам благодарность с занесением в личное дело.

— Служу трудовому народу,— тихо сказал Балашов.

— Садитесь, товарищ Балашов.— И своими узкими пронизательными глазами старший политрук осмотрел сидевших перед ним бойцов.— Кто хочет дальше развить мысль предыдущего оратора?

Чонкин дернул рукой. Ярцев заметил.

— Товарищ Чонкин, как прикажете истолковать ваш выразительный жест? Может быть, вы опять боретесь с жуком?

Чонкин встал.

— Вопрос, товарищ старший политрук.

— Пожалуйста.— Политрук расплылся в широкой улыбке, всем своим видом показывая, что, конечно, Чонкин может задать только очень простой вопрос и, может быть, даже глупый, но он, Ярцев, обязан снижаться до уровня каждого бойца и разъяснить непонятное. И он ошибся. Вопрос, может быть, был глупый, но не такой простой.

— А правда,— спросил Чонкин,— что у товарища Сталина было две жены?

Ярцев вскочил на ноги с такой поспешностью, как будто ему в одно место воткнули шило.

— Что? — закричал он, трясаясь от ярости и испуга.— Вы что говорите? Вы меня в это дело не впутывайте.— Он тут же спохватился, что сказал что-то не то, и остановился.

Чонкин растерянно хлопал глазами. Он никак не мог понять, чем вызвана такая ярость старшего политрука. Он попытался объяснить свое поведение.

— Я, товарищ старший политрук, ничего,— сказал он.— Я только хотел спросить... Мне говорили, что у товарища Сталина...

— Кто вам говорил? — закричал Ярцев не своим голосом.— Кто, я вас спрашиваю? С чужого голоса поете, Чонкин?

Чонкин беспомощно оглянулся на Самушкина, тот спокойно перелистывал «Краткий курс истории ВКП(б)», словно все происходившее не имело к нему никакого абсолютно отношения. Чонкин понял, что если сослаться на Самушкина, тот откажется не моргнув глазом. И хотя Чонкин никак не мог взять в толк, чем именно вызван такой невероятный гнев старшего политрука, ему было ясно, что Самушкин его опять подвел, может быть, даже больше, чем в тот раз, когда устроил «велосипед».

А старший политрук, начав кричать, никак не мог остановиться, он крестил Чонкина почему зря, говоря, что вот, мол, к чему приводит политическая незрелость и потеря бдительности, что такие, как Чонкин, очень ценная находка для наших врагов, которые только и ищут малейшую щель, куда, не гнушаясь никакими средствами, можно пролезть со своими происками, что такие, как Чонкин, позорят не только свое подразделение и свою часть, но и всю Красную Армию в целом.

Трудно сказать, чем кончился бы монолог Ярцева, если бы его не прервал дневальный Алимов. Видно, Алимов бежал от самого городка, потому что долго не перевести дух, и, приложив руку к пилотке, тяжело дышал, молча глядя на Ярцева. Его появление сбilo Ярцева с мысли, и он спросил раздраженно:

— Что вам?

— Товарищ старший политрук, разрешите обратиться.— Алимов кое-как отдышался.

— Обращайтесь,— устало сказал Ярцев, опускаясь на пень.

— Радового Чонкина по приказанию командира батальона вызывают в казарму.

Этому обстоятельству были рады и Чонкин, и Ярцев.

Отвязывая лошадь, Чонкин ругал себя, что черт его дернул за язык, может быть, первый раз за всю службу задал вопрос, и на тебе — такая неприятность. И он твердо решил, что теперь никогда в жизни не будет задавать никаких вопросов, а то еще влипнешь в такую историю, что и не выпутаешься.

5

Старшина Песков сидел у себя в каптерке и суровой ниткой резал мыло, готовясь к предстоящему его роте банному дню. В это время его позвали к телефону, и комбат Пахомов приказал немедленно разыскать Чонкина, выдать ему оружие, продпаек на неделю и подготовить к длительному несению караульной службы.

Какой именно службы и почему длительной, старшина не понял, но сказал «есть!», потому что привык выполнять приказания беспрекословно, согласно уставу. Каптенармуса Трофимовича, который помогал ему резать мыло, он послал на продсклад, а дневального Алимова отправил разыскивать Чонкина. После этого нарезал остальное мыло, вытер руки о полотенце и сел писать письмо своей невесте, которая жила в городе Котласе.

После срочной службы старшина прослужил еще два года, теперь хотел опять продлить срок, но невеста этого не одобряла. Она считала, что женатому человеку лучше работать где-нибудь на заводе, чем служить в армии. Старшина Песков с этим был не согласен, он писал:

«А еще, Люба, вы пишете, что гражданская жизнь лучше, чем военная, вы, Люба, имеете об этом неправильное понятие, потому что для каждого воина Красной Армии есть главное переносить вся тяготы и лишения воинской службы. А также воспитание подчиненных. Вы знаете, что наша страна со всех четырех сторон находится в капиталистическом окружении и враги только и метят на то, чтобы задушить Советскую страну, а наших жен и детей угнать в рабство. Поэтому в Красную Армию ежегодно призываются на военную службу молодые воины, дети рабочих и трудового крестьянства. И мы, закаленные воины, должны передавать им свой боевой опыт и воинское мастерство в деле воспитания молодого поколения. Но вопрос этот очень серьезный, к людям надо проявлять ежедневную строгость, потому что ты с ними будешь по-хорошему, а они к тебе обернутся свиньей. Возьмем, к примеру, простую семью. Если не будешь воспитывать ребенка в строгости с ремешком, то он вырастет жулик или хулиган, а дети, Люба, цель нашей жизни. А если не иметь цели, то можно повеситься или застрелиться (вот вам пример: Маяковский, Есенин)».

Старшина поставил точку, обмакнул перо в чернила и стал обдумывать следующую фразу. Он хотел как-то связать воедино вопросы семьи и брака и обороноспособности государства, но как именно сделать это, еще не знал, и тут его сбили с толку — кто-то постучался в дверь.

— Войдите,— разрешил старшина.

Вошел Чонкин. Он был так огорчен своей оплошностью на политзанятиях, что даже забыл, что нужно о своем прибытии доложить по-уставному, и спросил просто:

— Звали, товарищ старшина?

— Не звал, а приказал явиться,— поправил старшина.— Войдите и доложите, как положено.

Чонкин повернулся к дверям.

— Отставив! — сказал старшина.— Как нужно поворачиваться кругом?

Чонкин постарался сделать все как надо, но опять перелупал и повернулся через правое плечо. Только с третьего раза у него получился поворот более или менее гладко, после чего старшина наконец снизошел к нему, разрешил выйти и, вернувшись, доложить о прибытии. Потом сунул ему в руки Устав караульной и гарнизонной службы и отправил в казарму учить обязанности часового. А сам остался дописывать письмо, наполняя его новыми, возникшими в результате общения с Чонкиным мыслями:

«Вот, Люба, к примеру, у вас на заводе работает инженер с высшим образованием и имеет в своем подчинении 10—12 чел. Он может приказать им что-нибудь только по работе, а после работы или во время выходного дня они ему уже не подчиняются и могут делать, что хотят, как говорится, ты сам по себе, а я сам по себе. У нас такого положения быть не может. У меня в роте 97 красноармейцев и младшего комсостава. Я могу им в любое время отдать любое приказание, и они выполнят его беспрекословно, точно и в срок, согласно Уставу и воинской дисциплине, хотя я имею образование 5 кл.»

На этом месте его опять оборвали. Дверь открылась, в каютку кто-то вошел. Думая, что это Чонкин, старшина, не повернув головы, сказал:

— Выйди, постучись и войди снова.

Ему ответили:

— Я тебе постучусь.

Старшина волчком развернулся на табуретке, одновременно вытягиваясь, потому что увидел перед собой подполковника Пахомова.

— Товарищ подполковник, за время вашего отсутствия в роте никаких происшествий...— начал было он, приложив руку к пилотке, но подполковник его перебил:

— Где Чонкин?

— Отправлен для изучения Устава караульной и гарнизонной службы,— четко отпартовал старшина.

— Куда отправлен? — не понял Пахомов.

— В казарму, товарищ подполковник,— отчеканил Песков.

— Ты что — сумасшедший? — заорал на него подполковник.— Его самолет ждет, а ты тут будешь уставами с ним заниматься. Я тебе по телефону что говорил? Немедленно позвать Чонкина и подготовить к отправке.

— Есть, товарищ подполковник! — Старшина кинулся к двери.

— Погоди. Сухой паек получили?

— Трофимович пошел и все нету. Может, с кладовщиком разговаривает?

— Я вот ему поразговариваю. Тащить его сюда вместе с продуктами!

— Сейчас я пошлю дневального,— сказал старшина.

— Отставить дневального! — сказал Пахомов.— Не дневального, а сам, и бегом! Погоди. Даю тебе пять минут. За каждую лишнюю минуту — сутки ареста. Понял? Бегом!

Со старшиной подполковник разговаривал совсем не так, как час назад с командиром полка. Но и разговор старшины с Чонкиным был мало похож на его разговор с подполковником. Что касается Чонкина, то он мог в таком духе разговаривать разве что с лошадей, потому что она по своему положению была еще ниже его. А уже ниже лошади никого не было.

Выскочив на улицу, старшина поглядел на свои карманные часы, засек время и пошел было шагом, но потом, оглянувшись и увидев, что подполковник Пахомов следит за ним в окно, побежал.

Бежать надо было метров четырехста — в противоположный конец городка. На этом пути не было ни

одного строения, за которым можно было бы укрыться и тайком от комбата передохнуть, и старшина Песков чувствовал себя, как на пристрелянной местности. Ему было двадцать пять лет, но за два года сверхсрочной службы он бегал только один раз и то по тревоге, когда уклониться от беганья не было никакой возможности. Отвычка от этого занятия давала себя знать, да и жара, надо сказать, стояла немалая.

На продуктовом складе было, как всегда, полутемно и прохладно. Редкие солнечные лучи, пробиваясь сквозь дыры в стене и в крыше, пронизывали помещение, вырывая из полутьмы какие-то ящики, бочки, мешки и говяжьи туши, подвешенные к перекладине поперек склада. У полуоткрытых дверей сидел кладовщик Дудник и, подперев подбородок рукой, дремал, разомлев от жары. Стоило ему заснуть, как подбородок соскальзывал с потной ладони. Дудник ударялся подбородком об стол, открывал глаза, смотрел на стол подозрительно и враждебно, но, не в силах устоять перед соблазном, снова подводил руку под подбородок.

Высунув язык, влетел на склад старшина Песков. Он опустился рядом с Дудником на ящик из-под крупы и спросил:

— Ты Трофимовича не видел?

Дудник снова трахнулся об стол и осоловело посмотрел на Пескова.

— Чего?

Старшина посмотрел с уважением на подбородок Дудника, который выдерживает такие удары.

— Зубы целы? — спросил он.

— Зубы-то ничего,— сказал Дудник, встряхивая головой и зевая.— Я вот боюсь — стол придется в ремонт отдавать. Кого ты спрашивал?

— Трофимович здесь был?

— А-а, Трофимович. Трофимович был,— сказал Дудник, закрывая глаза и снова подставляя руку под подбородок.

— Погоди ты спать.— Старшина потряс его за плечо.— Куда он пошел?

Не открывая глаз, Дудник махнул свободной рукой в сторону дверей:

— Туда.

Поняв, что толку от Дудника не добиться, старшина вышел наружу и остановился в раздумье. Куда идти? Он перебрал в уме все места, где мог бы быть Трофимович, но тот мог быть где угодно, и придумать сейчас что-нибудь более или менее вероятное старшине было не так-то просто. Он вынул карманные часы и посмотрел на них. С момента получения им приказа шла шестая минута. Старшина вздохнул. Он знал, что подполковник Пахомов слов на ветер никогда не бросает. И Песков вдруг только сейчас понял, что происходит, вероятно, что-то сверхважное, раз Чонкина отправляют куда-то на самолете. Может быть, сам Чонкин вдруг стал очень важным? Его, старшину Пескова, ни разу не возили на самолете. Мысль о важности происходящего заставила его мозг работать продуктивней, старшина еще раз прикинул, где именно мог прятаться Трофимович, и, уже не колеблясь, бросился к военторговскому магазину.

Песков не ошибся. Трофимович стоял в пустом магазине рядом с продавщицей Тосей и рассказывал ей содержание фильма «Сердца четырех». На полу у его ног лежал вещмешок с сухим пайком для Чонкина.

Через минуту после этого подполковник Пахомов, взглянув в окно, увидел такую картину: по тропинке в сторону казармы, с вещмешком на плече, мелко подпрыгивал Трофимович; сзади, подталкивая его кулаком в спину, бежал старшина Песков.

К вечеру того же дня, сидя в отдельной камере

батальонной гауптвахты, старшина Песков продолжал письмо своей невесте из города Котласа.

«А вообще, Люба,— писал он,— жизнь армейская, конечно, не сахар. Это же есть такие люди, которые пользуются своим положением не для укрепления воинской дисциплины, а совсем обратное, с целью, чтобы издеваться над своими подчиненными. И, конечно, в гражданской жизни такого положения не бывает, потому что там каждый человек отработал свои восемь часов на производстве, считает себя свободным, и если какой инженер или мастер прикажет ему что-нибудь, так он может послать его куда дальше и правильно сделает».

6

Вот уж правда, жизнь человека полна неожиданностей. Если бы в этот день все текло по намеченному плану, то Чонкин после политзанятий должен был привезти на кухню дрова, потом — обед, потом — сон, после сна — баня. В бане обещали выдать новое обмундирование. (Чонкин уже рассчитывал отложить это обмундирование и две пары новых портянок на случай предстоящей демобилизации.) После бани — опять на конюшню, на склад за продуктами для ужина, потом вечером на открытой площадке — концерт художественной самодеятельности.

И вдруг — трах-бах — вызвали в казарму, выдали винтовку, скатку, вещмешок, усадили в самолет, и через каких-нибудь полтора часа Чонкин был уже черт-те где, в какой-то деревне, о которой он до этого никогда не слышал и не подозревал, что она существует на свете.

Его еще мутило от только что перенесенного первый раз в жизни полета, а летчики (тот, который его сюда привез, и другой, который был здесь) зачехлили поломанный самолет, привязали его к земле, сели в исправный и улетели, как будто их здесь и не было, а Чонкин остался лицом к лицу с самолетом и толпой, окружавшей его. Но и толпа постепенно рассосалась, предоставив Чонкина самому себе.

Оставшись один, он обошел вокруг самолета, подергал элероны и руль поворота, ударил ногой по колесу. И сплюнул. Зачем его охранять, от кого охранять и сколько времени — неизвестно. Подполковник Пахомов сказал — может, неделю, а может, и больше. За неделю можно с тоски подохнуть. Раньше, бывало, хоть с лошадей поговоришь, и то дело. Он вообще любил разговаривать с лошадью больше, чем с людьми, потому что человеку скажешь что-нибудь, да не то, еще и неприятностей наберешь на свою шею, а лошадь, ей чего ни скажи, все принимает. Чонкин с ней беседовал, советовался, рассказывал про свою жизнь, про старшину, жаловался на Самушкина и на повара Шурку, лошадь понимала чего или не понимала, а махала хвостом, кивала головой — реагировала. А с этим драндулетом разве поговоришь? Он же неодоушевленный. Чонкин еще раз сплюнул и прошел от носа к хвосту и от хвоста опять к носу. Огляделся.

Здесьняя природа не нравилась ему совершенно. В трех сотнях шагов от него сквозь кусты ивняка свинцово блестяла речка со странным названием Тепа. Чонкин не знал, что она так называется, но все равно было противно. Чахлый лесок, который тянулся ниже по течению Тепы, Чонкину не нравился еще больше, а уж обо всем остальном пространстве и говорить нечего. Земля была голая, бугристая и с камнями, деревня бедная. Два дома обиты тесом, остальные — из потемневших бревен, наполовину вросшие в землю, крытые какой — дранью, какой — соломой.

Пусто в деревне. Сколько ни смотри, не увидишь

человека живого. И ничего удивительного в этом нет — все на работе. А кто не на работе, прячутся от жарыщи по избам. Только пегий теленок, видно, отбилась от стада, лежит посреди дороги, высунув язык от жары.

Какой-то человек проехал на велосипеде по берегу речки с граблями, привязанными за спиной.

— Эг-ге-эй! — прокричал ему Чонкин, но тот не остановился, не обернулся, видать, не слышал.

Иван пристроил вещмешок на крыле самолета, развязал посмотреть, что там ему положили. В мешке лежали две буханки хлеба, банка мясных консервов, банка рыбных, банка концентратов, кусок колбасы, твердой, как дерево, и несколько кусочков сахара, завернутых в газету. На неделю, конечно, негусто. Знать бы заранее, спер бы чего-нибудь в летной столовой, а теперь что ж...

Прошел Чонкин опять вдоль самолета. Несколько шагов туда, несколько шагов обратно. Вообще, конечно, есть в его положении и приятное. Сейчас он не просто Чонкин, к которому можно запросто подойти, хлопнуть по плечу, сказать: «Эй ты, Чонкин», — или, например, плюнуть в ухо. Сейчас он часовой — лицо неприкосновенное. И прежде чем плюнуть в ухо, пожалуй, подумаешь. Чуть что: «Стой! Кто идет?», «Стой! Стрелять буду!» Дело серьезное.

Но если посмотреть на это дело с другой стороны...

Чонкин остановился и, прислонившись к крылу, задумался. Оставили его здесь одного на неделю без всякой подмены. А дальше что? По Уставу часовому запрещается есть, пить, курить, смеяться, петь, разговаривать, отправлять естественные надобности. Но ведь стоять-то неделю! За неделю этот Устав хочешь не хочешь — нарушишь! Придя к такой мысли, он отошел к хвосту самолета и тут же нарушил. Оглянулся вокруг — ничего.

Запел песню:

Скакал казак через долину,
Через кавказские края...

Это была единственная песня, которую он знал до конца. Песня была простая. Каждые две строчки повторялись:

Скакал он садиком зеленым,
Кольцо блестело на руке...
Скакал он садиком зеленым,
Кольцо блестело на руке...

Чонкин помолчал и прислушался. Опять ничего! Хоть пой, хоть тресни, никому ты не нужен. Ему вдруг стало тоскливей прежнего, и он ощутил настоятельную потребность поговорить хоть с кем-нибудь хоть о чем-нибудь.

Оглядевшись, он увидел телегу, которая пылила по дороге в сторону деревни. Чонкин приставил ладонь козырьком, взгляделся: в телеге баб человек десять, сидят, свесив ноги за борт, а одна, в красном платье, стоя, лошадьми правит. Увидя это, Чонкин пришел в неопишное волнение, которое становилось тем больше, чем больше приближалась телега. Когда она совсем приблизилась, Чонкин и вовсе засуетился, застегнул воротник и рванул к дороге.

— Эй, девки! — закричал он. — Давай сюда!

Девки зашумели, засмеялись, а та, которая правила лошадьми, прокричала в ответ:

— Всем сразу или через одну?

— Вали кулем, потом разберем! — махнул рукой Чонкин.

Девки зашумели еще больше и замахали руками, вроде бы приглашая Чонкина к себе в телегу, а та,

что стояла, крикнула такое, что Чонкин даже оторопел.

— И-их, бабоньки-и! — от избытка чувств взвизнул он, но его уже никто не мог слышать. Въехав в деревню, телега скрылась за поворотом, и только белая пыль долго еще висела в нагретом воздухе.

Все это действовало на Чонкина самым приятным образом. Он оперся на винтовку, и вовсе не дозволенные Уставом мысли насчет женского пола начали овладевать им. Он по-прежнему все поглядывал вокруг себя, но теперь уже не просто так, не совсем без смысла, теперь он искал нечто совершенно определенное.

И нашел.

В ближайшем огороде он увидел Нюру Беляшову, которая после дневного отдыха снова вышла окучивать картошку. Она мерно махала тяпкой и поворачивалась к Чонкину разными сторонами. Он пригляделся и по достоинству оценил ее крупные формы.

Чонкина сразу к ней потянуло, но он посмотрел на самолет и только вздохнул. И снова стал ходить вдоль самолета. Несколько шагов туда, несколько шагов обратно. Но «туда» шагов почему-то получалось все больше, а обратно все меньше, и в конце концов он уткнулся грудью в забор из длинных кривых жердей. Это произошло для него самого настолько неожиданно, что, встретившись с вопросительным Нюриным взглядом, Чонкин понял, что должен объяснить как-то свой поступок, и объяснил его так.

— Попить охота, — сказал он и для убедительности ткнул себя пальцем в живот.

— Это можно, — сказала Нюра, — только вода у меня теплая.

— Хоть какая, — согласился Чонкин.

Нюра положила тяпку в борозду, пошла в дом и тут же вернулась с ковшиком из черного железа. Вода, правда, была теплая, невкусная, она пахла деревянной бочкой. Чонкин отпил немного, а остаток, нагнувшись, выплеснул себе на голову.

— И-эх, хорошо! — сказал он с преувеличенной бодростью. — Верно я говорю?

— Ковшик на сучок повесьте, — ответила Нюра, снова берясь за тяпку.

Встреча с Чонкиным ее тоже взволновала, но она не подала виду и стала работать, ожидая, что он уйдет. А ему уходить не хотелось. Он постоял еще, помолчал и задал вопрос сразу по существу:

— Одна живете или с мужем?

— А вам зачем знать? — спросила Нюра.

— Из интереса, — ответил Чонкин.

— Одна или не одна, вас это не касается.

Этот ответ удовлетворил Чонкина. Он означал, что Нюра живет одна, но девичья гордость не позволяет ей отвечать прямо на такие вопросы.

— Может, помочь? — предложил Иван.

— Не надо, — сказала Нюра, — я уж сама.

Но Чонкин уже перекинул через забор винтовку и сам пролез между жердями. Нюра сперва поотнекивалась для приличия, а потом отдала Чонкину свою тяпку, а себе принесла из хлева другую. Вдвоем дело пошло веселее. Чонкин работал легко и быстро, чувствовалось, что не первый раз занимается он этим делом. Нюра сперва пыталась за ним угнаться, но потом, поняв, что попытка эта несостоятельна, безнадежно отстала. Когда они остановились для перекура, она заметила ему с любопытством:

— Сами, видать, деревенские.

— Неужто заметно? — удивился Чонкин.

— Как не заметить, — сказала Нюра, смущенно потупясь. — У нас тут городские были, помогать приезжали. Так иной раз стыдно смотреть. Тяпку в руках держать не умеют. Интересно, чему их там в городах учат?

— Известно чему, — сообразил Чонкин. — Сало деревенское жрать.

— То-то и есть, — согласилась Нюра.

Чонкин поплевал на ладони и принялся опять за работу. Нюра, идя следом, нет-нет да и поглядывала украдкой на нового своего знакомого. Она, конечно, сразу заметила, что и ростом он не очень-то вышел, и лицом не из самых красавцев, но ей при ее затянущемся одиночестве и такой был хорош. А Чонкин, она приглядела, парень сноровистый и с ухваткой, для хозяйства, сразу видно, полезный. И он нравился ей все больше и больше, и в душе ее даже затеплилось что-то похожее на надежду.

7

Нюра была совсем одинока. Более одинокой женщины не было во всей деревне, не считая бабы Дуни, но у той жизнь уже подходила к концу, а Нюре едва исполнилось двадцать четыре года. Жизнь в самом расцвете, но для замужества возраст, пожалуй, уже и великоват. Другие, кто порасторопней, постарались выскочить до двадцати да уже и детей понаражали (у Нюриной ровесницы Тайки Горшковой зимой пятый мальчишка родился). И не было обидно, была бы хуже других, а то ведь нет. Ни лицом, ни фигурой бог не обидел, красавицей, может, и не была, но и уродливой никто не считал. Уж на что Нинка Курзова от рождения недостаток имела — пятно в пол-лица, а и та нашла свое счастье, вышла замуж за Кольку и сейчас ходила на четвертом или на пятом месяце.

Не одна Нюра, конечно, в девках сидела, но у других хоть были либо родители, либо братья и сестры, либо еще кто, а у нее — никого. Были два брата старших. — она их не помнила. Один трех лет от роду во время пожара сгорел, другой, чуть побольше, от сыпного тифа помер.

Мать Нюры померла четыре года назад. До этого два года жаловалась на поясницу — все ее что-то ломало да горбило, от застуды ли, от тяжелой ли работы — кто его знает. Может, ей полежать надо было, отдохнуть, да как полежишь, когда бригадир каждое утро чуть не силком на улицу выволакивает — надо работать. И свое хозяйство тоже — большое ли, малое, а дело всегда найдется. К фельдшеру сходить, а он за семь верст в Долгове. Семь верст туда да семь обратно. А лечение у него одно: на ночь ноги в горячей воде попарь и под ватное одеяло. К утру, мол, пройдет. Освобождения, если жару нет, не добьешься. Если, мол, всем освобождение давать, кто тогда будет работать?

Когда матери совсем худо стало и она начала криком кричать, отец пошел к председателю (тогда еще другой был, не Голубев) лошадь просить, а тот говорит: «Специально дать не могу, а как будет попутная — пожалуйста». Когда попутная оказалась, она уж была ни к чему. Кладбище Красновское было рядом, за огородами, и покойницу отнесли туда на руках.

Отец Нюры пожил еще год в Красном, а потом, дуриком получив паспорт, подался в город на заработки. Работал там разнорабочим на строительстве электростанции, потом перешел в милицию, и односельчане, возившие продавать колхозные овощи, много раз видели его на рынке — ходил в форме и с револьвером, гонял спекулянтов. Сперва он Нюре хоть изредка писал письма, а потом женился, у него родился ребенок, писал он все реже, а потом и совсем перестал, только изредка передавал приветы через знакомых.

С замужеством у нее ничего не вышло, может быть, еще и потому, что была от рождения робкого характера, не могла собою увлечь, что ли, и один

ухажер бросил ее за то, что была молчалива, мол, не о чем даже поговорить; другой добивался от нее, чтобы согласилась на то, чего он хотел, до замужества, и обиделся, что она ему не верит; третьему поверила, но он тоже бросил — за то, что слишком легко согласилась. А женихов-то и сразу было немного, а чем дальше, тем меньше их становилось, таяли, как снег на ладони. Кто женился, кто ушел в армию и не вернулся, а для тех, которые подрастали, своих девчонок хватало. Так вот и получилось, что Нюра осталась одна.

Одиночество наложило особый отпечаток на ее жизнь. Взять хотя бы ее отношения со скотиной. У других, скажем, корова — это корова. Ее кормят, доят, выгоняют в стадо, и все. А Нюра за своей коровой ухаживала, чистила ее, выбирала из шкуры колочки. И разговаривала с ней ласково, как с человеком, и делилась, если было что-нибудь вкусное (когда кусок сахара даст, когда пирожок), потому и корова к ней относилась тоже как человек к человеку. Стадо в деревню пригонят, она от стада оторвется и бежит со всех ног бегом к дому — соскучилась, значит. И играет с хозяйкой. Так ее рогом подденет, будто всерьез, а на самом деле легонько, шутя. Но если заметит, что кто-нибудь хочет Нюру обидеть, то тут уже не играет, а глаза кровью нальет, голову опустит и идет на обидчика — берегись!

А кабан Борька, тот и вовсе бегал за Нюрой, как собака. Нюра около двух лет взяла его в колхозе маленьким трехдневным поросенком, рассчитывая со временем зарезать. А поросенок попался чахленький, много болел. Нюра за ним тоже ухаживала, как за ребеночком. Кормила из соски молоком, клала на живот грелку, купала в корыте с мылом, повязывала платочком и укладывала с собой в постель. Выходила, а когда он подрос, не решилась зарезать. Так он и жил у нее вместо собаки, худой, грязный, носился по двору, гонял кур, провожал Нюру, когда она шла на почту, и встречал, когда возвращалась. А уж визгу-то было и радости, когда она возвращалась, на всю деревню.

Даже куры были у нее не такие, как у других. Сядет Нюра на крыльце, а они уж тут как тут. Которая на плечо заберется, которая на голову, и сидят, как на насесте, не шелохнутся. И Нюра не шевелится, боится спугнуть. В деревне из-за этого над Нюрой многие посмеивались, а она и не обижалась, но думала, что, попади ей какой-нибудь человек, пусть хоть некрасивый и не очень умный, лишь бы хороший и к ней бы хорошо относился, а уж она тоже не осталась бы в долгу, раскрылась бы перед ним всей душой. И вот сейчас впереди нее шел по борозде, взмахивая тяпкой, маленького роста человек в военной форме с красными ушами, торчащими из-под пилотки. Кто он, этот человек, чего хочет? Может, только время провести от скуки, а может, и нет, кто его знает. Сразу не угадаешь.

Летний день, какой ни длинный, а и он подошел к концу. Заметно стало движение воздуха, потянуло от речки Тепы прохладой, большое красное солнце, перерезанное надвое перистым облачком, коснулось краем дымного горизонта. Замычала на другом конце деревни скотина, и Нюра, оставив Чонкина на огороде, побежала встречать свою Красавку. По дороге сошлась с Нинкой Курзовой, она шла с длинным прутом, тоже встречала корову. Они пошли рядом.

— Ну как, картошку окучила? — спросила Нинка явно с ехидцей, уж вся деревня, конечно, обратила внимание, что Нюра на огороде работала не одна.

— Еще немного осталось, — сказала Нюра.

— Теперь-то с помощником легче, — подмигнула Нинка.

— Да уж, конечно, в четыре-то руки, — сказала Нюра и покраснела.

— Парень хоть хороший? — деловито осведомилась Нинка.

— Да кто его знает. — Нюра пожала плечами. — С первого разу нешто разберешь. Росточку маленького, но так, видать, работающий. Как пошел с тяпкой вдоль борозды, так я за ним угнаться никак не могу.

— Ну-ну, — одобрила Нинка, — а звать-то как?

— Иваном, — гордо поведала Нюра, как будто имя было особенное.

— Холостой?

— А я и не спросила.

— Зря. Сразу спрашивать надо.

— Да вроде неудобно сразу-то.

— Напрямки неудобно, — убежденно ответила Нинка, — а так, вроде к слову, можно. Хотя все равно соврет.

— А на что ему врать?

— Как не врать? — сказала Нинка. — Вся наша жизнь состоит из того, что мужики врут, а бабы верят. А этот еще и военный. Ему лишь бы время провести, да и все. А ты его так попытай, а еще постарайся и в документ заглянуть, хотя в ихних документах тоже ничего может не быть, это не паспорт.

— Выходит, безвыходное положение? — спросила Нюра.

— Выходит, так.

— А я ему почему-то верю, — сказала Нюра. — Непохоже, чтоб врал.

— Если веришь, дело твое, — равнодушно сказала Нинка, — но я б на твоём месте его раньше времени до себя не допускала.

— А кто ж допускает? — смутилась Нюра.

— А я не говорю, что допускаешь, а можешь допустить. А они, мужики, да еще военные, у их привычка такая — свое дело справит, а потом над тобой же и посмеется.

Тут Нинка отскочила к забору, потому что на дороге показалась Красавка, которая галопом неслась по деревне, а за ней, не отставая, бежала маленькая собачонка и отчаянно тявкала. Красавка неслась прямо на Нюру с такой скоростью, что, казалось, никакая сила ее теперь не остановит, но перед самой Нюрой остановилась как вкопанная.

— Вот сатана какая, — испуганно сказала Нинка. — Гляди, Нюрка, кабы не вздела она тебя на рога.

— Ничего, меня не взденет, — сказала Нюра уверенно и почесала Красавке лоб между рогами. Та запыхалась от быстрого бега и дышала шумно, широко раздувая ноздри.

— А моей заразы что-то не видать, — сказала Нинка. — Побегу, как бы в огород к кому не залезла. Заходи болтаться, — как всегда пригласила она. — Песни поем, посмеемся.

И пошла дальше, помахивая хвостом.

На обратном пути Нюра забежала к бабе Дуне и купила у нее поллитровочку самогону. Она боялась, что баба Дуня начнет расспрашивать, для чего самогон, и придумала сказать, что будто должен приехать отец. Но баба Дуня сама уже напробовалась своего зелья до того, что ей все было неинтересно.

Когда Нюра подоила корову и вышла на крыльцо, Чонкин закончил уже последнюю грядку и сидел на траве, курил.

— Устали? — спросила Нюра.

— Плевать, — сказал Чонкин. — Мне эта работа только для развлечения.

— Я там на стол собрала, — преодолев в себе робость, сказала Нюра.

— На стол? — У Чонкина загорелись глаза, но он тут же вспомнил о своем положении и только вздох-

нул.— Нельзя мне. С сожалением бы, но нельзя. У меня вон стоит.— С досадой он махнул рукой в сторону самолета.

— Да, господи, кто его тронет! — горячо сказала Нюра.— У нас тут такой народ живет — избы не запирают.

— Неужто не запирают? — спросил Чонкин с надеждой.— И что ж, ни разу не бывало таких случаев, чтобы кто-нибудь чего-нибудь?..

— Да что вы,— сказала Нюра.— Я вот за всю жизнь и не припомню такого. Это вот еще когда я совсем маленькая была, еще до колхоза, у Степана Лукова, вон он там живет за конторой, лошадь пропала, так и то думали — цыгане, а потом нашли ее, перешлыла на тот берег.

— Ну, а если пацаны там захотят чего отвернуть? — постепенно сдавался Чонкин.

— Пацаны уже спать полегли,— сказала Нюра.

— Ну ладно,— решил Иван,— минут на десять, пожалуй, зайду.

Он взял свою винтовку, Нюра собрала тяпки.

В первой половине избы чисто убрано. На широком столе стояли бутылка, заткнутая тряпицей, два стакана и две тарелки — одна с вареной картошкой, другая с огурцами. Чонкин сразу оценил, что не хватает мясного, и, оставив винтовку в избе, сбегал к самолету за вещмешком. Колбасу Нюра тут же крупно порезала, а консервы вскрывать не стали, не хотелось возиться.

Чонкина Нюра усадила на лавку к стене, а сама села напротив на табуретку. Чонкин разлил самогон — себе полный стакан, Нюре — половину, больше она не разрешила. Чонкин поднял свой стакан и произнес тост:

— Со встречей!

После второго стакана Чонкина развезло. Он растегнул гимнастерку, снял ремень и сидел, привалившись спиной к стене, и о самолете больше не думал. В наступивших сумерках, как в тумане, перед ним плавало лицо Нюры, то раздваиваясь, то вновь собираясь в единое целое. Чонкин чувствовал себя весело, легко и свободно, и непослушным движением пальца он поманил к себе Нюру и сказал ей:

— Поди сюда.

— А зачем? — спросила Нюра.

— Просто так.

— Просто так можно и через стол говорить,— сопротивлялась она.

— Ну иди,— жалобно сказал он,— я ж тебя не укушу.

— Ни к чему все это,— сказала Нюра и, обойдя стол, села слева от Чонкина на некотором расстоянии.

Они помолчали. На противоположной стене громко стучали старые ходики, но их в темноте не было видно. Время шло к ночи.

Чонкин глубоко вздохнул и придвинулся к Нюре. Нюра вздохнула еще глубже и отодвинулась. Чонкин снова вздохнул и придвинулся. Нюра снова вздохнула и отодвинулась. Скоро она очутилась на самом краю лавки. Двигаться дальше было опасно.

— Чтой-то холодно стало,— сказал Чонкин, кладя левую руку ей на плечо.

— Да не так уж и холодно,— возразила Нюра, пытаясь сбросить его руку с плеча.

— Чтой-то руки замерзли,— сказал он и правой полез к Нюре за пазуху.

— А вы вообще-то всегда на эроплане летаете? — спросила она, предпринимая последнюю отчаянную попытку освободиться.

— Всегда,— сказал он, просовывая руку у нее под мышкой за спину, чтобы растегнуть лифчик.

Был не то день, не то вечер, не то свет, не то сумерки. Чонкин проснулся оттого, что почувствовал — кто-то угоняет его самолет. Он вскочил с постели, на которой рядом с ним никого не было, и выбежал на крыльцо. Тут он увидел Самушкина, который торопливо запрягал в самолет белую лошадь, похожую на Чалого. «Ты что делаешь?» — закричал Чонкин, но Самушкин, ничего не ответив, быстро вскочил в кабину и хлестнул лошадь концами вожжей. Лошадь подпрыгнула и, перебирая ногами, легко полетела над самой землей, а за ней над самой землей полетел самолет. На нижнем крыле, свесив ноги, сидели те самые девки, которые днем проезжали мимо Чонкина в телеге, среди них сидела и Нюра, она махала ему тяпкой, чтобы он догонял. Чонкин побежал за самолетом, и казалось, вот-вот догонит, но самолет ускользал от него, а бежать было все труднее, мешали перекинутая через плечо скатка и винтовка, которую он держал в руке. Он подумал, что винтовка ему совершенно не нужна, потому что старшина забыл выдать патроны, и, бросив винтовку, побежал гораздо быстрее. Вот он уже почти настиг самолет и хотел ухватиться за протянутую Нюрой тяпку, как вдруг вырос перед ним старшина и грозно спросил: «Ты почему не приветствуешь?» Он на минутку остановился перед старшиной, не зная, то ли отвечать ему, то ли дальше гнаться за самолетом, а старшина опять закричал: «А ну-ка пройди мимо столба и десять раз поприветствуй сго!» Чонкин стал торопливо озираться, чтобы побыстрее выполнить приказание старшины, пока самолет еще не улетел далеко, но столба нигде не было видно.

«Значит, ты не видишь этот столб! — закричал старшина.— А вот я тебе глаз сейчас выну, тогда ты у меня все увидишь, что нужно!» С этими словами старшина подошел к нему, вынул правый глаз, протянул вперед, в пространство, и этим вынутым глазом Чонкин действительно увидел перед собой растресканный столб, на котором горела лампочка. Он еще подумал — зачем она, интересно, горит, если и без нее свету достаточно? Он взял у старшины собственный глаз и пошел по направлению к столбу, но вспомнил про самолет и оглянулся.

Самолет был тут же, за его спиной. Он неподвижно парил в воздухе над самой землей, а лошадь беспомощно перебирала ногами, но не могла сдвинуться с места. «Надо бы ее подковать»,— подумал он и увидел старшего политрука Ярцева, который вышел из-за горы и манил его пальцем. Чонкин оглянулся на старшину, чтобы спросить у него разрешение, но старшина был уже занят другим: он скакал верхом на каптенармусе Трофимовиче по какому-то укатанному кругу, а посреди круга стоял подполковник Пахомов и стегал длинным бичом то одного, то другого.

Когда Чонкин подошел к Ярцеву, тот наклонился к самому его уху, а Чонкин испугался и закрыл ухо ладонью. «Не бойся, не плюнет»,— сказал сзади Самушкин. Иван убрал руку. Ярцев тут же превратился в жука и залез к нему в ухо. Чонкину стало щекотно, он хотел вытряхнуть Ярцева, но тот тихо сказал: «Не волнуйтесь, товарищ Чонкин, вы — лицо неприкосновенное, и я вам сделать ничего не могу. Мне поручено сообщить вам, что у товарища Сталина никаких жен не было, потому что он сам — женщина».

Сказав это, Ярцев опять превратился в человека, прыгнул на землю и ушел за гору.

Тут с неба медленно спустился товарищ Сталин. Он был в женском платье, с усами и с трубкой в зубах. В руках он держал винтовку.

— Это твоя винтовка? — строго спросил он с легким грузинским акцентом.

— Моя,— пробормотал Чонкин заплетающимся языком и протянул руку к винтовке, но товарищ Сталин отстранился и сказал:

— А где старшина?

Подлетел старшина верхом на Трофимовиче. Трофимович нетерпеливо рыл землю копытом, пытаясь сбросить с себя старшину, но тот крепко держал его за уши.

— Товарищ старшина,— сказал Сталин,— рядовой Чонкин покинул свой пост, потеряв при этом боевое оружие. Нашей Красной Армии такие бойцы не нужны. Я советую расстрелять товарища Чонкина.

Старшина медленно слез с Трофимовича, взял у товарища Сталина винтовку и приказал Чонкину:

— Ложись!

Чонкин лег. Под ним была пыль, топкая пыль, которая его засасывала, лезла в рот, в уши, в глаза. Он пытался разгрести пыль руками, ждал команду «отставить», но команды не было, и он проваливался все глубже и глубже. Тут его затылка коснулось что-то холодное, он понял, что это ствол винтовки, что сейчас грянет выстрел...

...Он проснулся в холодном поту. Рядом с ним, прислонившись к его плечу, спала какая-то женщина, он не сразу вспомнил, кто эта женщина и как они очутились в одной постели. Только увидев свою винтовку, спокойно висевшую на вешалке для верхней одежды, все вспомнил, соскочил на холодный пол и, наступая на завязки кальсон, кинулся к окну.

За окном светало. Самолет стоял на прежнем месте, его большие нелепые крылья резко чернели на фоне просветлевшего неба. Чонкин облегченно вздохнул и, оглянувшись, встретился с Нюриным взглядом. Нюра хотела закрыть глаза, но не успела, теперь не смотреть было глупо, а смотреть — стыдно. И стыдно было, что рука ее, пухлая, белая, голая до плеча, лежит поверх одеяла. Нюра медленно потянула руку вбок, чтобы спрятать, и при этом улыбнулась смущенно. Чонкин тоже смутился, но, не желая этого показывать и не зная, что делать, шагнул к Нюре, взял ее руку в свою, потряс легонько и сказал:

— Здравствуйте.

В то утро бабы, выгонявшие в поле скотину, видели, как из дома Нюры, босой и без гимнастерки, вышел Чонкин. Подойдя к самолету, он долго отягивал его, потом разобрал часть забора, вкатил самолет в огород, а забор снова заложил жердями.

9

Отличительной чертой председателя Голубева была неодолимая склонность к сомнениям. Когда жена утром спрашивала его:

— Что будешь есть — яичницу или картошку?

Он отвечал:

— Давай картошку.

Она доставала из печи чугунок с картошкой, и в эту секунду он знал совершенно определенно, что хочет яичницу. Жена запихивала чугунок обратно и шла в сени за яйцами. Возвращаясь, встречалась с виноватым взглядом мужа — он снова хотел картошку.

Иногда он даже сердился:

— Давай что-нибудь одно, не заставляй меня думать про глупости.

Право на выбор его всегда тяготило. Он невыносимо мучился, когда раздумывал, какую сегодня надеть рубашку — зеленую или синюю, какие сапоги — старые или новые. Правда, за последние двадцать с лишним лет в стране было много сделано для того, чтобы Голубев не сомневался, но какие-то сомнения у него все-таки оставались и распространялись порой даже на такие вещи, в которых вообще сомневаться в то

время было не принято. И не зря второй секретарь райкома Борисов говорил иногда Голубеву:

— Ты эти свои сомнения брось. Сейчас надо работать, а не сомневаться.

И еще он говорил:

— Помни, за тобой ведется пристальное наблюдение.

Впрочем, он говорил это не только Голубеву, но и многим другим. Какое наблюдение и как именно оно ведется, Борисов не говорил, может, и сам не знал.

Однажды Борисов проводил в райкоме совещание председателей колхозов по вопросам повышения урожайности за текущий квартал. Колхоз Голубева занимал среднее положение по показателям, его не хвалили и не ругали, он сидел и разглядывал новый гипсовый бюст Сталина, стоявший возле окна на коричневом подцветочнике. Когда совещание окончилось и все стали расходиться, Борисов задержал Голубева. Остановившись возле бюста вождя и машинально погладив его по голове, секретарь сказал:

— Вот что, Иван Тимофеич, парторг твой Килин говорит, что ты мало внимания уделяешь наглядной агитации. В частности, не дал денег на диаграмму роста промышленного производства.

— Не дал и не дам,— твердо сказал Голубев.— Мне коровник не на что строить, а ему только диаграммы свои рисовать, трынтькать колхозные деньги.

— Что значит трынтькать,— сказал секретарь.— Что значит трынтькать? Ты понимаешь, что ты говоришь?

— Я понимаю,— сказал Иван Тимофеевич.— Я все понимаю. Только жалко мне этих денег. Их в колхозе и так не хватает, не знаешь, как дыры заткнуть. А ведь вы потом сами с меня три шкуры сдерете, потому что я — председатель.

— Ты в первую очередь коммунист, а потом уже председатель. А диаграмма — это дело большой политической важности. И мне странно видеть коммуниста, который это недооценивает. И я еще не знаю, то, что ты говоришь, ошибка или твердое убеждение, и если будешь дальше держаться той же позиции, мы тебя еще проверим, мы в самую душу к тебе заглянем, черт тебя подери! — Рассердившись, Борисов хлопнул Сталина по голове и затряс рукой от боли, но тут же выражение боли на его лице сменилось выражением смертельного страха.

У него сразу пересохло во рту. Он раскрыл рот и смотрел на Голубева, не отрываясь, словно загнипнотизированный. А тот и сам до смерти перепугался. Он хотел бы не видеть этого, но ведь видел же, видел! И что теперь делать? Сделать вид, что не заметил? А вдруг Борисов побежит каяться, тогда он-то выкрутится, а ему, Голубеву, достанется за то, что не заявил. А если заявить, так ведь тоже за милую душу посадят, хотя бы за то, что видел.

У обоих на памяти была история, когда школьник стрелял в учительницу из рогатки, а попал в портрет и разбил стекло. Если бы он выбил учительнице глаз, его бы, возможно, простили по несовершеннолетию, но он ведь попал не в глаз, а в портрет, а это уже покушение, ни больше ни меньше. И где теперь этот школьник, никто не знал...

Первым из положения вышел Борисов. Он суетливо вытащил из кармана металлический портсигар и, раскрыв его, сунул Голубеву. Тот заколебался — брать или не брать. Потом все же решился — взял.

— Да, так о чем мы с тобой говорили? — спросил Борисов как ни в чем не бывало, но на всякий случай отходя от бюста подальше.

— О наглядной агитации,— услужливо напомнил Голубев, приходя понемногу в себя.

— Так вот я говорю,— сказал Борисов уже другим тоном,— нельзя, Иван Тимофеевич, недооценивать

политическое значение наглядной агитации, и прошу тебя по-дружески, ты уж об этом позаботься, пожалуйста.

— Ладно уж, позабочусь,— хмуро сказал Иван Тимофеевич, торопясь уйти.

— Вот и договорились,— обрадовался Борисов, он взял Голубева под руку и, провожая до дверей, сказал, понижая голос: — И еще, Ванюша, хочу тебя как товарища предупредить, учти — за тобой ведется пристальное наблюдение.

Голубев вышел на улицу. Стоял по-прежнему сухой и солнечный день. Председатель отметил это с неудовольствием, пора бы уже быть и дождю. Его лошадь, привязанная к железной ограде, тянулась к кусту крапивы, но не могла дотянуться. Голубев взобрался в двуколку, отпустил вожжи. Лошадь прошла один квартал и сама, без всякого приказания, по привычке остановилась напротив деревянного дома с вывеской «Чайная». Возле чайной стояла подвода с бидонами из-под молока, председатель сразу определил, что подвода из его колхоза. Лошадь была привязана к столбу. Голубев привязал к этому же столбу и свою лошадь, поднялся по шатким ступеням крыльца и открыл дверь. В чайной пахло пивом и кислыми щами.

Женщина, скупавшая за стойкой, сразу обратила внимание на вошедшего.

— Здравствуйте, Иван Тимофеевич.

— Здорово, Анюта,— ответил председатель, кидая взгляд в угол.

Там Плечевой допивал свое пиво. При появлении председателя он встал.

— Ничего, сиди,— махнул ему Голубев и подождал, пока Анюта нальет ему обычную порцию — сто пятьдесят водки и кружку пива. Водку, как всегда, вылил в пиво и пошел в угол к Плечевому. Тот опять попытался встать, но Голубев придержал его за плечо.

— Молоко сдавал? — спросил председатель, отхлебывая из кружки.

— Сдавал,— сказал Плечевой.— Жирность, говорят, маловата.

— Перебьются,— махнул рукой Голубев.— А чего сидишь?

— А я тут Нюрку встретил, почтальоншу, да и обещался ее подвезти,— объяснил Плечевой.— Вот дожидаю.

— Что, живет она со своим красноармейцем? — поинтересовался Иван Тимофеевич.

— А чего ж ей не жить,— сказал Плечевой.— Он у ней заместо домохозяйки, да. Она на почту, а он воду наносит, дрова наколет и щи варит. Передник Нюркин наденет и ходит, как баба, занимается по хозяйству, да. Я-то сам не видел, а народ болтает, будто он и салфетки еще крестом вышивает.— Плечевой засмеялся.— Ей-богу, вот сколь живу, а такого, чтоб мужик в бабском переднике ходил да еще вышивал бы, не видел. И ведь вот что интересно: прислали его будто бы на неделю, полторы прошло, а он и не чухается, да. Я вот, Иван Тимофеевич, не знаю, может, это все от темноты, но народ думку такую имеет, что не зря он, этот армеец, сидит тут, а некоторые прямо считают — в виде следствия.

— Какого следствия? — насторожился председатель.

Плечевой знал о мнительности Голубева и сейчас нарочно его подзуживал и с удовольствием замечал, что слова его производят должный эффект.

— А кто его знает, какого,— сказал он.— Только понятно, что зазя его здесь держать не будут, да. Если эроплан сломатый, значит, его надо чинить. А если он в таком состоянии, что и чинить нельзя, значит, надо выбросить. Чего ж даром человека держать. Вот потому-то народ, Иван Тимофеевич, и сомне-

вается. Слух есть,— Плечевой понизил голос и приблизился к председателю,— что колхозы распускать будут обратно.

— Ну, это ты брось,— сердито сказал председатель.— Не будет этого никогда, и не надейся. Работать надо, а не слухи собирать.

Он допил свой «ёрш» и поднялся.

— Ты, Плечевой, вот что,— сказал он напоследок,— если Беляшовой долго не будет, не жди, нечего. И своим ходом дойдет, невелика барыня.

Попрощавшись с Анютой, он вышел, сел на двуколку и поехал домой. Но сказанное Плечевым запало ему в душу и соединилось со словами Борисова о том, что за ним, Голубевым, ведется пристальное наблюдение. Какое же наблюдение и как оно ведется? Уж не через этого ли красноармейца? Не специально ли его подослали? Правда, на вид он вроде бы и не похож на такого, которого можно подослать. Но ведь и те, кто посылает, тоже не дураки, они такого и не пошлют, чтобы сразу было видно, что он подослан. Если бы знать это точно! Но как узнаешь? И тут у Голубева родилась дерзкая мысль: «А что, если подойти к этому красноармейцу, стукнуть кулаком по столу, говори, мол, по какому заданию ты здесь сидишь и кто тебя на это направил?» А если даже за это и будет чего, так уж лучше сразу, чем так-то вот ждать неизвестно какой опасности.

10

Итак, полторы недели прошло с тех пор, как Чонкин попал в Красное и поселился у Нюры. Он здесь уже прижился, со всеми перезнакомился, стал своим человеком, и не было никаких намеков на то, что его отсюда когда-нибудь заберут. Нельзя сказать, чтобы Чонкину такая жизнь не нравилась. Наоборот, ни подъема, ни отбоя, не говоря уже о физзарядке или политзанятиях. Хотя и в армии в смысле еды он неплохо устроился, но здесь-то хлеб, молоко, яйца, все свежее, лучок прямо с грядки да еще баба под боком — чем не жизнь? Да на месте Чонкина любой согласился бы стоять на таком посту до самой демобилизации, а еще годок-другой прихватил бы сверхсрочно. И все-таки в положении Чонкина было что-то такое, что не давало ему жить спокойно, а именно то, что оставили его здесь вроде бы на неделю, но неделя эта прошла, а из части ни слуху ни духу, никаких дальнейших распоряжений. Если решили задержать, то надо сообщить как-нибудь, да и сухой паек не мешало б пополнить. Это хорошо, что он здесь так вот пристроился, а то давно бы уже зубы на полку.

Последние дни, каждый раз выходя на улицу, Чонкин задирает голову и глядел в небо, не появится ли там медленно растущая точка, и прикладывал к уху ладонь, не послышится ли приближающийся рокот мотора. Да нет, ничего не было видно, ничего не было слышно.

Не зная, что предпринять, и отчаявшись, Чонкин решил обратиться за советом к умному человеку. Таким человеком оказался сосед Нюры — Кузьма Матвеевич Гладышев.

Кузьму Гладышева не только в Красном, но и во всей округе знали как человека ученого. Об учености Гладышева говорил хотя бы тот факт, что на деревянной уборной, стоявшей у него в огороде, большими черными буквами было написано «Water closet».

Занимая неприметную и низкооплачиваемую должность колхозного кладовщика, Гладышев зато имел много свободного времени для пополнения знаний и держал в своей маленькой голове столько различных сведений из различных областей, что люди, знакомые с ним, только вздыхали завистливо и уважи-

тельно — вот это, мол, да! Многие утверждали, что, разбуди Гладышева в двенадцать часов ночи и задай ему любой вопрос, он не задумываясь даст на него самый обстоятельный ответ и любое явление природы объяснит с точки зрения современной науки, без участия потусторонних божественных сил.

Всех этих знаний Гладышев добился исключительно путем самообразования, ибо смешно было бы приписывать тут какую-нибудь заслугу церковноприходской школе, где он окончил всего лишь два класса. Знания, накопленные Гладышевым, может, и пролежали бы в его голове без всякого толку, если бы не Октябрьская революция, которая освободила народ от всевозможного рабства и любому гражданину позволила карабкаться к сияющим и каменистым вершинам науки. Надо еще отметить, что в освобожденном уме Гладышева и раньше возникало много оригинальных научных идей. Каждый жизненный факт не проходил мимо него незамеченным, а наталкивал его на различные мысли. Увидит, скажем, Кузьма на печи тараканов и думает: а нельзя ли, мол, их связать между собой и направить в одну сторону? Это ж такая сила получится, что ее можно с выгодой использовать в сельском хозяйстве. Посмотрит на облачко и думает: а нельзя ли замкнуть его в оболочку для использования в качестве аэростата? Говорят (теперь это трудно проверить), что именно Гладышев первым, задолго до профессора Шкловского, высказал предположение об искусственном происхождении спутников Марса.

Но, помимо всех этих попутных идей, была у Гладышева еще и такая, которой решил он посвятить всю свою жизнь и посредством ее обессмертить свое имя в науке, а именно: вдохновленный прогрессивным учением Мичурина и Лысенко, надумал он создать гибрид картофеля с помидором, то есть такое растение, у которого внизу росли бы клубни картофеля, а наверху одновременно вызревали бы помидоры. Будущий свой гибрид Гладышев назвал в духе того великого времени «Путь к социализму», или сокращенно «ПУКС», и намерен был распространить свои опыты на всю территорию родного колхоза, но ему этого не позволили, пришлось ограничиться пределами собственного огорода. Вот почему ему приходилось покупать картошку и помидоры у соседей.

Опыты эти пока что реальных результатов не давали, хотя некоторые характерные признаки пукса стали уже проявляться: листья и стебли на нем были вроде картофельные, зато корни точь-в-точь помидорные. Но, несмотря на многочисленные неудачи, Гладышев не унывал, понимая, что настоящее научное открытие требует труда и немалых жертв. Люди, знающие об этих опытах, относились к ним с недоверием, однако кто-то Гладышева заметил и поддержал, чего не могло быть в проклятое царское время.

Однажды в районной газете «Большевицкие темпы» был напечатан о Гладышеве большой, в два подвала, очерк под рубрикой «Люди новой деревни», который назывался «Селекционер-самородок». Тут же была помещена и фотография самородка, склонившегося над кустом своего гибрида, как бы рассматривая сквозь него зримые черты прекрасного будущего нашей планеты. После районной газеты откликнулась и областная, напечатав небольшую заметку, а потом уже и всесоюзная в проблемной статье «Научное творчество масс» упомянула фамилию Гладышева в общем списке. В своих изысканиях и в борьбе с рутинной Гладышев опирался еще на отзыв одного сельхозакадемика, хотя отзыв был отрицательный. На письмо, направленное ему лично, академик ответил, что опыты, проводимые Гладышевым, антинаучны и бесперспективны. Тем не менее он советовал Гладышеву не падать духом и, ссылаясь на пример

древних алхимиков, утверждал, что в науке никакой труд не бывает напрасным, можно искать одно, а найти другое. И письмо это, несмотря на его смысл, произвело на адресата сильное впечатление, тем более что напечатано было на официальном бланке солидного учреждения, где Гладышева называли «уважаемый товарищ Гладышев» и где академик собственноручно поставил подпись. И на всех, кто читал письмо, это тоже производило известное впечатление. Но когда самородок — в который-то раз — начинал с кем-нибудь обсуждать перспективы, которые откроются перед миром после внедрения пукса, люди скучнели, отходили в сторону, и Гладышев, подобно многим научным гениям, испытывал состояние полного одиночества, пока не подвернулся под руку Чонкин.

Гладышев любил рассказывать о своем деле, а Чонкин от скуки был не прочь и послушать. Это их сблизило, и они подружились. Бывало, Чонкин выберется на улицу по делу или так просто, а Гладышев уже копается в своем огороде — окучивает, пропалывает, поливает. И всегда в одном и том же костюме: кавалерийские галифе, заправленные в потертые яловые сапоги, старая, драная майка и широкополая соломенная шляпа в виде сомбреро, где он только нашел ее, непонятно.

Чонкин помашет селекционеру рукой:

— Слышь, сосед, здорьво!

— Желая здравствовать, — вежливо ответит сосед.

— Как жизнь? — поинтересуется Чонкин.

— Тржусь, — последует скромный ответ.

Так слово за слово и течет разговор, плавный, непринужденный.

— Ну, когда ж у тебя картошка-то с помидором вырастет?

— Погоди, еще рано. Всему, как говорится, свой срок. Сперва еще отцвести должно.

— Ну, а если и в этом году опять не получится, чего будешь делать? — любопытствует Чонкин.

— В этом должно получиться, — с надеждой вздыхает Гладышев. — Да ты сам посмотри. Стебель получается вроде картофельный, а на листе нарезь, как на томате. Видишь?

— Да кто его знает, — сомневается Чонкин, — сейчас пока вроде не разберешь.

— Ну как же не разберешь? — обижается Гладышев. — Ты погляди, кусты-то какие пышные.

— Насчет пышности, это да, — соглашается Чонкин. И лицо его оживляется. У него тоже возникла идея. — Слышь, а так не может получиться, чтобы помидоры были внизу, а картошка наверху?

— Нет, так не может, — терпеливо объясняет Гладышев. — Это противоречило бы законам природы, потому что картофель есть часть корневой системы, а томаты — наружный плод.

— А вообще-то было бы интересно, — не сдастся Чонкин.

Для Гладышева вопросы Чонкина, может, и кажутся глупыми, но чем глупее вопрос, тем умнее можно на него ответить, поэтому оба вели эти разговоры с большим удовольствием. С каждым днем дружба их крепла. Они уже договаривались, чтобы встретиться по семейному: Чонкин с Нюрой, а Гладышев со своей женой Афродитой (так звал ее Гладышев, а за ним стали звать и другие, хотя от рождения она числилась Ефросиньей).

В этот день Чонкин успел переделать кучу дел. Натаскал воду, наколот дров, накормил отрубями кабана Борьку и сварил обед для себя и для Нюры. После этого он обычно, как был, в Нюрином переднике сядил к окошку и, подперев голову рукой, под-

жидал Ньюру. А другой раз, чтобы время быстрее текло, садился к окну с вышиванием. Посмотреть на солдата, который сидит в женском переднике у окна да еще занимается вышиванием,— смех, но что делать, если Чонкину нравилось вышивать? Интересно ему было, когда из разноцветных крестиков складывалось изображение петуха, или розы, или еще чего-нибудь.

Сейчас он тоже начал вышивать, но работа не клеилась, мысли о неопределенности его положения отвлекали. Несколько раз он выходил на крыльцо поговорить с Гладышевым, но того не было, а зайти к нему домой, беспокоить Чонкин стеснялся, тем более что до этого ни разу не заходил.

Чтобы как-то убить время, занялся более тупой, чем вышивание, работой — вымыл полы. Грязную воду вынес за калитку и выплеснул на дорогу.

Девочка лет пяти в цветастом ситцевом платье играла возле забора с кабаном Борькой: сняла с головы шелковый бантик и повязала Борьке на шею. Борька вертел шеей, пытаясь разглядеть бантик, но это ему не удавалось. Увидев Чонкина, девочка поспешно сняла бантик с Борьки и зажала в руке.

— Ты чья будешь, девочка? — спросил Иван.

— Я-то Килина, а ты чей?

— А я сам свой,— усмехнулся Иван.

— А я папина и мамина,— похвасталась девочка.

— А кого ты больше любишь — папу или маму?

— Сталина,— сказала девочка и, смутившись, убежала.

— Ишь ты, Сталина.— Глядя ей вслед, Чонкин покачал головой.

Впрочем, Сталина он по-своему тоже любил.

Помахивая пустым ведром, направился он назад к дому, и в это время на свое крыльцо вылез Гладышев, взлохмаченный, с красными полосками на щеке.

— Слышь, сосед! — обрадовался Чонкин.— А я тебя тут дожидаю уже более часу, куда это, слышь, думаю, запропал?

— Соснул я малость,— смущенно сказал Гладышев, потягиваясь и зевая.— После обеда книжку прилег почитать по части селекции растений, а оно, вишь, разморило. Жара-то какая стоит, прямо наказание. Не будет дождя, так все чисто попалит.

— Слышь, сосед,— сказал Чонкин,— хошь табачку? У меня самосад крепкий, аж в горле дерет. Ньюрка вчера на рынке в Долгове купила.

Он отогнул передник, достал из кармана масленку из-под ружейного масла, набитую табаком, и газету, сложенную книжечкой.

— Табак для здоровья — вреднейшее дело,— изрек Гладышев, подходя к жердевому забору, разделявшему два огорода.— Ученые подсчитали, что капля никотина убивает лошадь.

Однако от угощения отказываться не стал. Закурил, закашлялся.

— Да уж табачок-крепачок,— одобрил он.

— Табачок самсон, молодых на это дело, стариков на сон,— поддержал Чонкин.— А у меня к тебе, слышь, сосед, дело есть небольшое.

— Какое ж дело? — спросил на него глаза Гладышев.

— Да дело-то зряшное, ерунда совсем.

— Ну, а все-таки?

— Да так, не стоит даже и говорить.

— Ну, а не стоит — не говори,— рассудил Гладышев.

— Это, конечно, правильно,— согласился Чонкин.— Но, с другой стороны, как же не говорить? Прислали меня сюда на неделю, и сухой паек на неделю, а прошло уже полторы, а меня не берут. И опять же насчет сухого пайка никакого известия.

Значит, я что же, выходит, должен жить за счет бабы?

— Да, это нехорошо,— сказал Гладышев.— Ты теперь называешься — Альфонс.

— Ну, это ты брось.— не согласился Чонкин.— Ты, слышь, жену свою как хошь называй, хоть горшком, а меня зови по-прежнему Ваней. Так вот я тебе к чему говорю. Письмишко надо составить к моему командиру, что я есть и как мне быть дальше. Ты-то человек грамотный, а я вообще-то буквы понимаю, а пишу плохо. В школе еще кой-как кумекал, а потом в колхозе и в армии все на лошади да на лошади — знай тяни вожжу то вправо, то влево, а грамоты там никакой и не нужно.

— А расписываться умеешь? — спросил Гладышев.

— Нет, это-то я могу. И читать, и расписываться. Я, слышь, знаешь, как расписываюсь? Сперва пишу «И», потом «Ч», потом кружочек, и дальше все буква к букве, и в конце такую черточку с вывертом, и на всю страницу от края до края. Понял?

— Понял,— сказал Гладышев.— А бумага, чернила у тебя есть?

— А как же,— сказал Иван.— Ньюрка-то, она почтальоншей работает. Тоже работа, тебе скажу, не для каждого. Голову надо большую иметь.

— Ну ладно,— наконец согласился Гладышев,— пошли к тебе, а то у меня там баба с дитем, будут мешать. А это дело серьезное, тут надо писать политически выдержанно.

Через час политически выдержанный документ был составлен. Выглядел он так:

Командиру батальона тов. Пахомову
от рядового красноармейца
тов. Чонкина Ивана

РАПОРТ

Разршите доложить, что за время Вашего отсутствия и моего присутствия на посту, а именно по охране боевой техники самолета, никаких происшествий не случилось, о чем сообщая в письменном виде. А также разрешите доложить, что воспитанный в духе беззаветной преданности нашей Партии, Народу и лично Великому Гению тов. Сталину И. В., я готов и в дальнейшем беспрекословно служить по защите нашей Социалистической Родине и охране ее Границ, для чего прошу выдать мне сухой паек на неопределенное время, а также недополученный мною комплект обмундирования.

В моей просьбе прошу не отказать.

К сему остаюсь...

— Складно,— одобрил Чонкин сочинение Гладышева и поставил свою подпись, как обещал, через всю страницу.

Гладышев написал еще и адрес на приготовленном Чонкиным конверте без марки и ушел довольный.

Чонкин положил конверт на стол, взял растянутую на пальцах салфетку и сел к окошку. За окном было уже не так жарко, солнце клонилось к закату. Скоро должна была прийти Ньюра, кабан Борька поджидал ее уже на бугре за деревней.

12

Привязав лошадь у Ньюриной калитки, председатель Голубев поднялся на крыльцо. Нельзя сказать, чтобы он при этом сохранял полное присутствие духа, скорее наоборот, он входил в Ньюрин дом, испытывая примерно такое волнение, как входя к первому секретарю райкома. Но он еще по дороге решил, что войдет, и сейчас не хотел отступать от этого своего решения.

Постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, открыл ее. Чонкин при его появлении испуганно и растерян-

но шарил глазами по комнате, ища, куда бы сунуть пальцы.

— Рукоделием занимаетесь? — спросил председатель вежливо, но подозрительно.

— Чем бы ни занимался, лишь бы не заниматься, — сказал Чонкин и бросил пальцы на лавку.

— Это верно, — сказал председатель, топчась у дверей и не зная, как продолжить разговор. — Так, так, — сказал он.

— Так не так, перетакивать не будем, — пошутил в ответ Чонкин.

«Все вокруг да около, уводит в сторону», — отметил про себя председатель и решил пощупать собеседника с другого конца, затронуть вопросы внешней политики.

— В газетах пишут, — осторожно сказал он, подходя ближе к столу, — немцы обратно Лондон бомбили.

— В газетах чего не напишут, — уклонился Чонкин от прямого ответа.

— Как же так, — схитрил Голубев. — В наших газетах чего зря не напишут.

— А вы по какому делу? — спросил Чонкин, чувствуя какой-то подвох.

— А ни по какому, — беспечно сказал председатель. — Просто зашел посмотреть, как живете. Донесение пишете? — спросил он, заметив на столе конверт с воинским адресом.

— Да так пишу, что ни попадя.

«До чего же умный человек! — мысленно восхитился председатель. — И с этой стороны к нему подойдешь, и с другой, а он все равно ответит так, что ничего не поймешь. Небось, высшее образование имеет. А может, и по-французски понимает».

— Кес кесе, — сказал он неожиданно для самого себя единственные французские слова, которые были ему известны.

— Чего? — Чонкин вскинул на него испуганные глаза и замигал покрасневшими веками.

— Кес кесе, — упрямо повторил председатель.

— Ты чего это, чего? Чего говоришь-то? — забеспокоился Чонкин и в волнении заходил по комнате. — Ты, слышь это, брось такие слова говорить. Ты говори, чего надо, а так нечего. Я тебе тут тоже не с бухты-баракты.

— Я и вижу, не с бухты-баракты, — решил наступать председатель. — Установили тут наблюдение. Дураки-то, думаете, не поймут. А дураки нынче тоже умные стали. Мы все понимаем. Может, у нас чего и не так, да не хуже, чем у других. Возьмите хоть «Ворошилова», хоть «Заветы Ильича» — везде одна и та же картина. А то, что прошлый год сеяли по мерзлой земле, так это ж по приказу. Сверху приказывают, а колхозник за все отдувается. Не говоря уже о председателе. А вы тут на самолетах летаете, пишете! — кричал он, распаяясь все больше и больше. — Ну и пишете, чего хотите. Напишите, что председатель колхоз развалил, напишите, что пьяница. Я сегодня вот выпил и от меня пахнет. — Он наклонился к Чонкину и дыхнул ему прямо в нос. Чонкин отшатнулся.

— Да я-то чего, — сказал он, оправдываясь. — Я ведь тоже не так просто, а по приказу.

— Так бы сразу и сказал — по приказу, — даже как бы обрадовался председатель. — А то сидит тут, как мышь, бабой замаскировался. А какой приказ-то? Партбилет положить? Положу. В тюрьму? Пожалуй-ста, пойду. Лучше уж тюрьма, чем такая жизнь. Детишек у меня шестеро, каждому по сумке и — побираться по деревням. Как-нибудь прокормятся. Пиши! — Напоследок он хлопнул дверью и вышел.

Только на улице он понял все, что натворил, поняв, что теперь-то ему уж точно, несдобровать.

«Ну и пусть, — думал он зло, отвязывая лошадь, — лучше уж сразу, чем каждый день ждать и дрожать от страха. Пусть будет, что будет».

В правлении его ожидал счетовод Волков с финансовым отчетом. Председатель подписал этот отчет, не глядя, испытывая мстительное наслаждение: пусть там даже напутано что-нибудь — теперь все равно. После этого он распорядился, чтобы Волков подготовил денежный документ на краски и кисти для диаграммы, о которой говорил ему Борисов, и отпустил счетовода.

Оставшись один, он немного пришел в себя и стал раскладывать лежавшую на столе грудку бумаг. Здесь не было никакого порядка, и теперь председатель решил разложить бумаги в отдельные кучки в зависимости от их назначения. Он разложил входящие в одну кучу, а исходящие (которые, однако, не были отправлены) в другую. Отдельно сложил финансовые документы, отдельно заявления колхозников. В это время внимание его привлек разговор, который он услышал за перегородкой, отделявшей его кабинет от коридора.

— Когда первый раз в камеруходишь, тебе под ноги кладут чистое полотенце.

— Зачем?

— А затем. Если ты первый раз, ты через то полотенце переступишь. А если ты вор в законе, то вытрешь об него ноги — и — в парашу.

— Так ведь жалко полотенце.

— Себя жалче. Если ты через полотенце переступишь, тут тебе начнут делать... забыл, как называется слово... во, вспомнил, посвящение.

— Это еще чего?

— Для начала пошлют искать пятый угол. Это тебе понятно?

— Это понятно.

— Потом парашютный десант.

— Какой там в камере парашютный?

— Ты слушай...

Голубева этот разговор страшно заинтересовал. И он принял его близко к сердцу. Он даже подумал, что, может быть, не зря подслушал. Может быть, в скором времени ему эти сведения пригодятся. Голоса ему были знакомы. Голос того, кто спрашивал, принадлежал Николаю Курзову. Голос отвечавшего был тоже знаком, но чей он, Голубев не мог вспомнить, как ни старался.

— Парашютный десант делается так. Тебя берут за руки, за ноги и спиной об пол бросают три раза.

— Так ведь больно, — сказал Курзов.

— Там тебе не санаторий, — пояснил рассказчик. — Ну, а потом ты уж вроде как свой и вместе с другими участвуешь в выборах.

— Разве и там бывают выборы?

— Выборы бывают даже на поле. Там выбирают старосту. Один между коленок зажимает билетик с фамилией. Другие по очереди с завязанными глазами и руками подходят и вытаскивают билетик зубами...

— Ну, это можно, — довольно сказал Курзов. — Ничего страшного.

— Страшного, конечно, ничего. Только когда твоя очередь подходит, тебе вместо коленок голый зад подставляют.

Председатель был человек брезгливый, и он поморщился. Ему захотелось узнать, кто же это все так интересно рассказывает, и он вышел в коридор, вроде бы для того, чтобы заглянуть в бригадирскую.

На длинной скамейке под стенгазетой сидели Николай Курзов и Леша Жаров, которого три года назад посадили на восемь лет за то, что он украл на мельнице мешок муки. Увидев председателя, Леша поспешно поднялся и стащил с головы картуз с оторванным

kozyрьком, обнажив стриженую с начавшими отрастать волосами голову.

— Здравсьте, Иван Тимофеевич,— сказал он таким тоном, каким говорят обычно люди после долгой разлуки.

— Здравствуй,— хмуро сказал председатель, как будто видел Лешу только вчера.— Освободился?

— Выскочил досрочно,— сказал Леша.— По зачетам.

— Ко мне, что ли?

— До вас,— согласился Леша.

— Ну, заходи.

Леша пошел за председателем в кабинет, ступая осторожно своими потертыми ботинками, как будто боялся кого-нибудь разбудить. Он подождал, пока председатель сядет на свое место, и только после этого сам сел на краешек табуретки по другую сторону стола.

— Ну, что скажешь? — помолчав, хмуро спросил председатель.

— На работу до вас проситься пришел, Иван Тимофеевич.— почтительно сказал Жаров, в волнении растягивая картуз на колене.

Председатель задумался.

— На работу, значит? — сказал он.— А какую я тебе могу дать работу? Ты, Жаров, зарекомендовал себя не с хорошей стороны. Вот мне на МТФ человек нужен. Я бы тебя послал, так ведь ты молоко воровать будешь.

— Не буду, Иван Тимофеевич,— пообещал Леша.— Вот чтоб мне провалиться на этом месте — не буду.

— Не зарекайся,— махнул рукой Голубев.— Тебе божиться, что дурному с горы катиться. Прощлый раз сколько я тебе говорил: «Смотри, Жаров, нехорошо себя ведешь. Доиграешься». Говорил я тебе или нет?

— Говорили,— подтвердил Жаров.

— Вот — «говорили». А ты мне что говорил? Ничего, мол, переживем. Вот тебе и ничего.

— Напрасно вы старое поминаете, Иван Тимофеевич,— проникновенно сказал Леша и вздохнул глубоко.— Я ваши слова в лагере вспоминал часто. Помню, сидели мы раз за обедом, и как раз дали нам компот...

— Неужто и компот дают? — заинтересованно спросил председатель.

— Это где какой начальник. Один голодом морит, а другой, если хочет, чтобы план выполняли, и накормит тебя, и оденет потеплее, только работай на совесть.

— Есть, значит, и хорошие начальники? — с надеждой переспросил председатель и подвинул к Жарову пачку папирос «Дели».

— Кури. Ну, а как там в смысле массовых мероприятий?

— Этого сколько хочешь,— сказал Леша.— Кино, самодеятельность, баня раз в десять дней. Самодеятельность получше, чем у нас в городе. Там у нас был один народный артист, два заслуженных, а простых я и не считал. Вообще народу грамотного сидит...— Леша понизил голос...— бесчисленно. Был у нас один академик. Десятку дали. Хотел испортить кремлевские куранты, чтоб они на всю страну неправильно время показывали.

— Да ну? — Председатель недоверчиво посмотрел на Лешу.

— Вот те и ну. Вредительства, скажу тебе, Иван Тимофеевич, у нас полно. Вот, к примеру, ты куришь папироски, вот эти «Дели», а в них тоже вредительство.

— Да брось ты,— сказал председатель, но папироску изо рта вынул и посмотрел на нее с подозрени-

ем.— Какое же здесь может быть вредительство? Отравлены, что ль?

— Хуже,— убежденно сказал Леша.— Вот можешь ты мне расшифровать слово «Дели»?

— Чего его расшифровывать? «Дели» значит Дели. Город есть такой в Индии.

— Эх,— вздохнул Леша,— а еще грамотный. Да если хочешь знать, по буквам «Дели» — это значит Долой Единый Ленинский Интернационал.

— Тише ты,— сказал председатель и посмотрел на дверь.— Это, знаешь, нас с тобой не касается. Ты мне лучше насчет бытовых условий объясни.

Потом в кабинет, не дождавись своей очереди, вошел Николай Курзов. Утром ему надо было ехать на лесозаготовки, и он просил председателя выписать ему два килограмма мяса с собой.

— Завтра придешь,— сказал председатель.

— Как же завтра,— сказал Николай.— Завтра мне уже чуть свет отправляться надо на поезд.

— Ничего, отправишься послезавтра. Я справку дам, что задержал тебя.

Он подождал, пока дверь за Николаем закрылась, и нетерпеливо повернулся к Леше:

— Давай рассказывай дальше.

Баба Дуня, которая отработывала минимум трудней, дежуря у продуктового склада, видела, что в председательском окне свет не гас до часу ночи.

Председатель все спрашивал Лешу насчет условий жизни в лагере, и по Лешину рассказу выходило, что жизнь там не такая уж страшная. Работают по девять часов, а здесь ему приходится крутиться от зари до зари, кормят три раза в день, а здесь не каждый день и два раза успеешь поесть. Кино здесь он уже с полгода не видел.

Расставаясь, он пообещал Леше приличную работу.

— Пойдешь пока пастухом,— сказал он.— Будешь пасти общественный скот. Оплата, сам знаешь, пятнадцать рублей с хозяина и от колхоза пятьдесят соток в день. Кормежка — по домам. Недельку у одних, неделю у других. Поработаешь пастухом, пообсмотришься, потом, может, подыщем что попрличнее.

В этот день председатель вернулся домой в хорошем настроении. Он погладил по головкам спящих детей и даже сказал что-то нежное жене, отчего та, не привыкшая к мужниным ласкам, вышла в сени и всплакнула немного.

Утерев слезы, она принесла из погреба кринку холодного молока. Иван Тимофеевич выпил почти всю кринку, разделся и лег. Но ему долго еще не спалось. Он вздыхал и ворочался, вспоминая до мельчайших деталей рассказы Лешы Жарова. Но потом усталость взяла свое, и он прикрыл отяжелевшие веки. «И там люди живут»,— подумал он, засыпая.

13

— Земля имеет форму шара,— объяснил как-то Чонкину Гладышев.— Она постоянно вращается вокруг Солнца и вокруг собственной оси. Мы не чувствуем этого вращения, потому что сами вращаемся вместе с Землей.

О том, что Земля вращается, Чонкин слышал раньше. Не помнил, от кого именно, но от кого-то слышал. Он только не мог понять, как на ней держатся люди и почему не выливается вода.

Шла третья неделя пребывания Чонкина в Красном, а из части, где он служил, не было ни слуху ни духу. У него уже прохудился ботинок, а никто не ехал, никто не летел, никто не давал указаний, как быть дальше. Чонкин, конечно, не знал, что письмо в часть, которое он отдал Нюре, она не отправила. Надеясь, что начальство забыло о существовании Чонкина, и не желая напоминать о нем даже ценою

сухого пайка, она несколько дней носила это письмо в своей брезентовой сумке, а потом тайком от Ивана сожгла.

Тем временем в мире происходили события, которые непосредственного отношения ни к Нюре, ни к Чонкину пока не имели.

14 июня в ставке Гитлера состоялось совещание по окончательному уточнению последних деталей плана «Барбаросса».

Ни Чонкин, ни Нюра никакого представления об этом плане не имели. У них были свои заботы, которые им казались ближе. Нюра, например, за последние дни совсем с лица спала, облезла, как кошка, и еле ноги таскала. Хотя ложились они рано, Чонкин ей спать не давал, будил по несколько раз за ночь для своего удовольствия, да еще и днем, только она, уставшая, через порог переступит, он накидывался на нее, как голодный зверь, и тащил к постели, не давая сумку сбросить с плеча. Уж она другой раз пряталась от него на сеновале либо в курятнике, но он и там ее настигал, и не было никакого спасу. Она и Нинке Курзовой жаловалась, а та над ней только смеялась, втайне завидуя, потому что ее Николая и раз в неделю подбить на это было не так-то просто.

Но в тот самый день, когда уточнялся план «Барбаросса», между Нюрой и Чонкиным произошло недоумение, да такое, что и сказать неудобно.

Дело было к вечеру. Нюра, вернувшись из района, разнеся почту и уступивши Чонкину дважды, занималась в избе приборкой, а он, чтобы ей не мешать, вышел с топориком на улицу и взялся править забор. Поправит столбик, отойдет с прищуренным глазом, посмотрит и радуется сам на себя: вот, дескать, какой я мастер — за что ни возьмусь, все в руках горит.

А Нюра ненароком глянет в окошко и тоже довольна. С тех пор как появился Иван, хозяйство стало приходить постепенно в порядок. И печь не дымит, и дверь закрывается, и коса отбита да наточена. Взять даже такую ерунду, как железка, чтобы ноги от грязи очищать, а и та появилась бы разве без мужика?

Хороший мужик, плохой ли, надолго ли, ненадолго, а все-таки свой. И приятно не только то, что он тебе по хозяйству поможет, а потом спать с тобой ляжет, приятно само сознание того, что он есть. приятно сказать подруге или соседке при случае: «Мой вчера крышу перестилал, да ветром его прохватило, простыл малость, пришлось молоком горячим отпаивать». Или даже и так: «Мой-то как зенки залет, так сразу за хват либо за кочергу и давай крушить что ни попадя, тарелки в доме целой уж не осталось». Вот вроде бы жалоба, а на самом деле — нет, хвастовство. Ведь не скажешь про него, что паровоз изобрел или атомное ядро расщепил, а хоть что-нибудь сделал, проявил себя, и за то спасибо. Мой! Другой раз попадется такой, что и смотреть не на что: кривой, горбатый, деньги пропивает, жену и детей бьет до полусмерти. Казалось бы, зачем он ей такой нужен? Бросила бы его да и все, а вот не бросает.

Мой! Хороший ли, плохой ли, но все же не твой, не ее. Мой!

Глянет Нюра в окошко, задумается. Долго ли они живут вместе, а она к нему уже привязалась, сердцем присохла. А стоило ли? Не придется ли вскорости по живому-то отрываться? Неужели снова время придет такое — придешь домой, а дома четыре стены. Хоть с той говори, хоть с этой — она тебе не ответит.

Чонкин подровнял последний угловой столбик, отступил с топором на два шага. Хорошо вроде, ровно. Всадил в столбик топор, достал из кармана масленку с махоркой, газетку, закурил, постучал в окошко:

— Слышь, Нюрка, ты давай прибирай скорее, шась приду, повалеемся.

— Иди, черт чудной,— с ласковой грубостью отозвалась Нюра.— Сколь можно?

— А сколь хошь,— объяснил Чонкин.— Кабы ты не сердилась, так я хочь бы целые сутки.

Нюра только рукой махнула. Иван отошел от окна, задумался о своей будущей жизни, а когда услышал рядом с собой чей-то голос, даже испугался, вздрогнул от неожиданности.

— Слышь, армеец, закурить не найдешь ли?

Он поднял глаза и увидел рядом с собой Плечевого. Плечевой возвращался с рыбалки. В одной руке он держал удочку, в другой прутик с нанизанными на него мелкими рыбешками. Рыбешек было штук десять. Чонкин снова достал махорку с газеткой и, протянув Плечевому, спросил:

— Ну, как рыбка ловится?

Плечевой прислонил удочку к забору, зажал прут с рыбой под мышкой и, свертывая самокрутку, сказал неохотно:

— Какая там ноне ловитьба! Это несчастье одно, а не рыба. Кошке отдам, пушай жрет. Раньше, бывало, щуки на блесну ловились во какие.— Он прикурил от Ивановой сигарки и, коснувшись правой рукой левого плеча, вытянул левую руку, показывая, какие именно были щуки.— А сейчас щуку здесь днем с огнем не найдешь. Караси их, что ли, пожрали. А ты что ж, с Нюркой живешь? — переменял он ни с того ни с сего разговор.

— Ага, с Нюркой,— согласился Иван.

— И после службы думаешь с ней оставаться? — попытывался Плечевой.

— Не решил еще,— задумчиво сказал Иван, не зная, стоит ли доверять свои сомнения малознакомому человеку.— Вообще, конечно, Нюрка — баба справная и видная из себя, но и я ведь тоже еще молодой, обсмотреться надо сперва что к чему, а потом уж и обзаводиться по закону в смысле семейной жизни.

— А на что тебе обсматриваться? — сказал Плечевой.— Женись, да и все. У Нюрки все ж таки своя изба и своя корова. Да где ж ты еще такое найдешь?

— Вообще-то верно...

— Вот я тебе и говорю — женись. Нюрка — баба очень хорошая, да, тебе про нее никто плохого не скажет. Она вот сколь ни жила одна, никогда ни с кем не пугалась, и мужика у ей отродясь не было. Только с Борькой одним и жила, да.

— С каким Борькой? — насторожился Иван.

— С каким Борькой? А с кабаном ейным,— охотно объяснил Плечевой.

Чонкин от неожиданности подавился дымом, закашлялся, бросил сигарку на землю и раздавил ее каблучком.

— Брось чудить,— сказал он сердито.— Какого еще такого кабана выдумал?

Плечевой посмотрел на него голубыми глазами.

— А чего я тебе сказал? Тут ничего такого и нет. Известно, женщина одинокая, а ей тоже требуется, да. И сам посуди — ему уж в обед сто лет, а она его резать не хочет, а почему? Да как же его зарежешь, если, бывало, она в постелю, а он до нее. Накроются одеялом и лежат, как муж и жена. А так кого хошь на деревне спроси, и тебе каждый скажет: лучше Нюрки никого не найти.

Довольный произведенным впечатлением, Плечевой взял удочку и не спеша пошел дальше, попыхивая сигаркой, а Чонкин долго еще стоял с отвалившейся нижней челюстью, провожая Плечевого растерянным взглядом и не зная, как относиться к только что услышанной новости.

Нюра, подоткнув юбку, мыла в избе полы. Распахнулась дверь, на пороге появился Чонкин.

— Погоди, протру пол,— сказала Нюра, не заметив его возбужденного состояния.

— Нечего мне годить,— сказал он и прошел в грязных ботинках к вешалке, где висела винтовка. Нюра хотела заругаться, но поняла, что Чонкин чем-то расстроен.

— Ты чего? — спросила она.

— Ничего.— Он сорвал винтовку и вскрыл затвор, чтобы проверить патроны.

Нюра с тряпкой стала в дверях.

— Пусти! — Он подошел с винтовкой в руках и попытался отодвинуть ее прикладом, словно вешлом.

— Ты чего это надумал? — закричала она, глядя в глаза.— На что ты ружье берешь?

— Пусти, сказано тебе.— Он двинул ее плечом.

— Скажи — зачем? — стояла на своем Нюра.

— Ну ладно,— Чонкин поставил винтовку к ноге и посмотрел Нюре в глаза.— Чего у тебя было с Борькой?

— Да ты что? С каким Борькой?

— Известно, с каким. С кабаном. Ты с им давно живешь?

Нюра попыталась улыбнуться.

— Ваня, ты это шутейно, да?

Этот вопрос почему-то совершенно вывел его из равновесия.

— Я вот тебе дам шутейно! — Он замахнул прикладом.— Говори, стерва, когда ты с ним снюхалась?

Нюра посмотрела на него ошалелым взглядом, как бы пытаясь понять, не сошел ли он с ума. А если нет, значит, она сумасшедшая, потому что ее бедный рас-судок не мог охватить смысла того, что было здесь сказано.

— Господи, что же это такое творится! — просто-нала Нюра.

Она выпустила из рук тряпку и, обхватив голову мокрыми руками, отошла к окну. Села на лавку и заплакала гихо, беспомощно, как плачут больные дети, у которых не хватает сил плакать громко.

Такой реакции на свои слова Чонкин не ожидал. Он растерялся и, топчась у открытых дверей, не знал, как ему поступить. Потом прислонил винтовку к стене и подошел к Нюре.

— Слышь, Нюрка,— сказал он, помолчав,— ну, если чего и было, я ж ничего. Я его шамльну, и все, и дело с концом. По крайности хоть мясо будет, какое там никакое. А то бегают по двору, как собака, только хлеб зазря переводит.

Нюра все так же плакала, и Чонкин не понял, слышала она его или нет.

Он провел своей шершавой ладонью по ее волосам и, подумав, сказал иначе:

— Ну, а если не было ничего, так ты мне, Нюрка, скажи. Я ведь не со зла, а сдуру. Мне Плечевой бухнул, а я, не подумавши, тоже. Народ ведь у нас, Нюрка, злой, нехороший, и, когда женщина или девушка живет по отдельности, про нее чего только не скажут.

Слова его, однако, успокоения не внесли, а произвели совершенно обратное действие. Нюра закричала дурным голосом, упала на лавку, обхватила ее руками и стала давиться в рыданиях, вздрагивая всем телом.

Чонкин в отчаянии забегал перед ней, засуетился, потом упал на колени и, отрывая Нюру от лавки, закричал ей в самое ухо:

— Слышь, Нюрка, да ты что? Да я это так просто. Да мне никто ничего не говорил, я сам все выдумал просто для шутки. Дурак я, слышь, Нюрка, дурак. Ну хочешь, ударь меня по голове вот хоть утюгом, только не плачь.

Он и правда схватил стоявший под лавкой утюг и вложил его в Нюрину руку. Нюра утюг отшвырну-

ла, и Чонкин инстинктивно отскочил, иначе ему бы отшибло ноги. Как ни странно, но, бросив утюг, Нюра начала успокаиваться и затихла, только плечи ее продолжали вздрагивать. Чонкин побежал в сени и принес ковшик воды. Стуча зубами о железо, Нюра отхлебнула глоток и поставила ковшик на лавку перед собой. Потом села, утерла слезы воротником платья и спросила почти спокойно:

— Исть будешь?

— Не мешало бы,— радостно согласился Иван, довольный, что все обошлось. Ему уже самому казались смешными его сомнения. Это же надо было поверить в такую глупость! И кому? Плечевому, который только и знает, что языком трепать.

Иван побежал на улицу, внес топор в сени, но когда проходил мимо двери, ведущей из избы в хлев, услышал приглушенное хрюканье Борьки, и темное сомнение опять шевельнулось в его душе, он хотел, но не смог его подавить.

Нюра поставила на стол две кружки парного, еще пахнувшего коровой молока и теперь гремела в печи ухватом, пытаясь извлечь чугунок с картошкой. Чонкин ей помог, уселся за стол.

— Слышь, Нюра,— сказал он, придвигая к себе молоко,— ты все же сердись, не сердись, а Борьку я завтра шамльну.

— За что? — спросила она.

— Да при чем тут — за что, ни за что. Раз болтовня такая в народе пошла, значит, надо шамльнуть, и чтоб не было никаких разговоров.

Он смотрел на нее настороженно, но она на этот раз плакать не стала. Она разложила картошку по тарелкам, пододвинула одну Чонкину, другую себе и сказала с горечью:

— А если ты его убьешь, значит, думаешь, народ сразу перестанет болтать? Эх, не знаешь ты, Ваня, наших людей. Да они ж все от радости взвоют. А разговоров пойдет... «Чего это он, мол, кабана вдруг стрелил?» — «Понятно чего. С им же Нюрка жила». А дальше — больше. Один слово скажет, другой два прибавит. И уж так разрисуют, не хуже, чем в книге. «Пошла это Нюрка ввечеру корову доить, а Иван дома остался. Ждет-пождет — нету Нюрки. «Дай,— думает,— погляжу, не заснула ли». Заходит он это в хлев, а Нюрка...»

— Цыц, ты! — заорал неожиданно Чонкин и двинул от себя кружку, расплескав по столу молоко.

Картина, представленная Нюркой, подействовала на него так сильно, как будто он сам все это увидел, и вопреки доводам, которыми она хотела его убедить, он опять взбеленился и, опрокинув скамейку, кинулся к винтовке, стоявшей возле дверей. Но Нюра опередила его. Она встала в дверях, как памятник, и сдвинуть Чонкину было ее не под силу. Давешняя история повторилась. Чонкин толкал Нюру плечом и говорил:

— Пусти!

А она отвечала ему:

— Не пущу!

А он настаивал на своем:

— Пусти!

А она отстаивала свое:

— Не пущу!

Потом Чонкин умирался, отошел и сел на лавку, зажав винтовку в коленях.

— Видать, Нюрка, правду брешет про тебя Плечевой,— зло сказал он.— Кабы у тебя с Борькой не было ничего, ты бы за него держаться не стала. Ему уж в обед сто лет, давно на сало пора, а ты его все бережешь. А коли так, нам с тобой вместе не жить. И вопрос, Нюрка, в настоящий период стоит либо так, либо эдак, либо я, либо кабан, даю тебе на

размышление пять с лишним минут, а затем собираю свои манатки, и извини-подвинься.

Он посмотрел на ходики, висевшие против окна, засек время и, подперев голову рукой, отвернулся от Нюры, ожидая ее решения. Она придвинула к себе табуретку и села возле дверей. Оба сидели и молчали, как на вокзале, когда все заготовленные слова уже сказаны, осталось только поцеловаться, а тут сообщили, что поезд опаздывает на два часа.

Прошло пять минут, пять минут с лишним, прошло шесть минут. Чонкин повернулся к Нюре и спросил: — Ну, что ты надумала?

— А что мне думать? — сказала она печально. — Ты, Ваня, сам все решай, сам поступай, как знаешь. А Борьку я убивать не дам. С тобой я знакома без году неделя, а он у меня живет, почитай, уже два года. Я его маленьким в колхозе взяла, когда ему было всего три денечка. И молоком из бутылки через соску поила, и в корыте купала, и грелку на живот положила, когда он болел. И он мне теперь, хоть смеясь, хоть нет, вроде сына. И для него дороже меня никого нет, почему он меня провожает на работу и встречает, когда обратно иду. И какая б ни была погода, а только на пригорок взойду, а он навстречу мне несется, хоть по снегу, хоть по грязюке. И так у меня, Ваня, в иной момент сердце сжимается, что присяду я над этим Борькой и плачу как дура, сама не знаю, от радости или от горя, а скорее от того и другого. К тебе, Ваня, я хоть и привыкла и полюбила тебя, как мужа родного, но ты сегодня здесь, завтра там, найдешь себе другую, получше да покрасивше, а для Борьки лучше меня никого нет. И когда я буду одна, он подойдет, ухом об ногу потрется, и уже веселее, все же живая душа.

Ее слова тронули Чонкина, но отступить он не стал, потому что имел о женщинах твердое представление — раз отступишь, поддашься, потом на голову сядут...

— Ну, а что же делать, Нюрка? Ведь это же такое говорят, да ведь это же стыд просто.

— Смотри, Ваня, дело твое.

— Ну, ладно. — Он собрал в охапку винтовку, скатку и вещмешок и подошел к Нюре. — Я ведь, Нюрка, ухожу.

— Иди. — Она отрешенно глядела в угол.

— Ну и оставайся, — сказал он и вышел на улицу.

Вечерело. На небе проступили первые звездочки. На столбе возле конторы играло радио. Передавали песни Дунаевского на слова Лебедева-Кумача.

Чонкин свалил свое имущество возле самолета, сел на крыло и задумался над зыбкостью счастья. Еще недавно, не больше часа назад, был он вполне благополучным человеком, хотя и временным, но хозяином дома, главой семьи, и вдруг все рухнуло, разлетелось, и он опять оказался одиноким, бездомным, привязанным к этому поломанному самолету, как собака к будке. Но собака, которая привязана к будке, находится даже в более выгодном положении, ее хотя бы кормят только за то, что она собака, а его, Ивана, оставили на произвол судьбы и неизвестно, собираются забрать или нет.

Сидеть на наклонном крыле было неудобно, да и холодно становилось. Чонкин пошел к стогу, стоявшему в огороде, натаскал несколько охапок сена и стал устраиваться на ночлег. Сам лег на сено, а сверху укрылся шинелью.

Ему здесь было не так уж и плохо, во всяком случае, привычно, и он подумал, что вот сейчас выйдет Нюра и станет извиняться и просить его вернуться обратно, а он скажет: «Нет, ни за что. Ты сама так хотела, и пушай так и будет». И это ж надо такое! Вот уж никогда не думал, что придется бабу ревновать, и к кому! До него донеслось из хлева Борькино хрюка-

нье, Чонкин вдруг представил себе, как именно могла быть Нюра с кабаном, и его даже передернуло от омерзения. Надо бы его все-таки пристрелить. Так он подумал, но на то, чтобы пойти и сделать это сейчас, у него почему-то не хватало ни злости, ни желания.

После песен Дунаевского передали последние известия, а следом за ними сообщение ТАСС.

«Может, насчет биллизации», — подумал Чонкин, которому слово «демобилизация» или даже «мобилизация» произнести было не под силу, хотя бы и мысленно. Говорили совсем о другом.

— ...Германия, — отчетливо выговаривал диктор, — так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерениях Германии порвать пакт и предпринять нападение на Советский Союз лишены всякой почвы...

«Почва, — подумал Чонкин, — смотря какая. Если, к примеру, суглинок, так это гроб, а если сухая с песком, для картошки лучше не надо. Хотя тоже не сравнить с черноземом. И для хлеба хорош, и для всего...»

Подумал он о хлебе, и сразу засосало под ложечкой.

Вообще, конечно, он тоже зря в бутылку полез. Плечевой чего ни ляпнет, только слушай, а он уши распустил как дурак. А теперь что ж. Теперь надо стоять на своем, хотя вроде бы и ни к чему, и есть, ой, как охота.

Тем временем уже совсем стемнело. Звезды были теперь рассыпаны по всему небу, и одна из них, самая яркая, желтая, висела низко над горизонтом, казалось, пройди немного и протяни руку — достанешь. Гладышев говорил, что все небесные тела вращаются и движутся в пространстве. Но эта звезда не вращалась. Она висела на одном месте, и, сколько Чонкин ни щурился, никакого движения не замечал.

Радио, начавшее передавать концерт легкой музыки, вдруг захрипело и смолкло, но тут же на смену ему заиграла гармошка, и кто-то пока еще не установившимся басом заорал на всю деревню:

**А хулиганом мать родила,
А хулиганом назвала,
А финку-ножик наточила,
А хулигану подала.**

И тут же откуда-то женский высокий голос:

— Катька, сука несчастная, ты пойдешь домой али нет?

Потом гармонист заиграл «Раскинулось море широко», бессовестно перевирая мелодию, наверное, оттого, что в темноте не мог попасть пальцами в нужные кнопки.

Потом гармошка смолкла, и стали слышны другие звуки, до этого неразличимые. Пищала полевая мышь, трещал сверчок, хрустела сеном корова и где-то возились и в сонной тревоге перекудахтывались куры.

Потом заскрипела дверь. Чонкин насторожился. Но это была не Нюрина дверь, а соседская. Гладышев вышел на крыльцо, постоял, повздыхал, может быть, привыкая к темноте, потом направился к ватерклозету, спотыкаясь между грядок и попыхивая сигаркой. Потом еще постоял на крыльце, покашлял, заплевал сигарку и вернулся в избу. Вскоре после него вышла Афродита и торопливо помочилась возле крыльца. Потом Чонкин слышал, как она, закрывая за собой дверь, долго гремела засовом. Нюра не выходила, не просила прощения и, кажется, не собиралась.

Кто-то тронул его за локоть. Он посмотрел и увидел перед собой синее в ночном полусвете лицо Плечевого.

— Пошли,— тихо сказал Плечевой и протянул Чонкину руку.

— Куда? — удивился Чонкин.

— Куда надо,— последовал ответ.

Не хотелось Чонкину подниматься и переть на ночь глядя неизвестно куда и зачем, но когда ему говорили «надо», он отказываться не умел.

Они шли, пробираясь между высоких деревьев со стволами белыми, как у берез, но это были совсем не березы, а какие-то другие деревья, густо покрытые инеем. Трава была тоже покрыта инеем, имевшим весьма странные свойства — на нем не оставалось никаких следов. Чонкин заметил это, хотя и торопился, боясь упустить из виду Плечевого, спина которого то исчезала, то вновь появлялась перед глазами. Одно было непонятно Чонкину: как можно ориентироваться в этом странном лесу, где нет даже малозаметной тропинки; он только хотел спросить об этом Плечевого, но как раз в этот момент перед ними возник высокий глухой забор с узкой калиткой, в которую Чонкин с трудом протиснулся следом за своим провожатым. За забором оказалась изба, ее Чонкин сразу признал, хотя и не ожидал здесь увидеть, — это была изба Нюры.

Возле крыльца кучками и поодиночке стояли какие-то неизвестные Чонкину люди в одинаковых темных пиджаках нараспашку. Люди эти курили и разговаривали между собой — это было видно по тому, как они раскрывали и закрывали рты, но не издавали при этом ни единого звука. Не было слышно и звуков гармошки, которую, сидя на крыльце, лениво растягивал парень в высоких хромовых сапогах. А другой парень, в сандалиях, плясал перед гармонистом вприпрыжку, но в таком замедленном ритме, словно медленно плавал в воде. И тоже совершенно беззвучно. Даже когда хлопал себя по коленям, ничего не было слышно.

— Чего это они тут делают? — спросил Иван Плечевого и был очень удивлен, не услышав собственного голоса.

— Не болтай! — строго оборвал его Плечевой, чем окончательно поразил Чонкина, до которого слова эти дошли, но дошли не посредством звуковых колебаний, не через ухо, а каким-то другим путем.

Гармонист с безразличным видом отодвинулся, уступая дорогу, и Чонкин следом за Плечевым медленно поднялся на крыльце. Плечевой толкнул ногой дверь и пропустил Ивана вперед. За дверью оказались не сени, которые ожидал увидеть Чонкин, а какой-то длинный коридор со стенами, выложенными белыми блестящими плитками, и растянутой на полу красной ковровой дорожкой. Чонкин и Плечевой пошли по этой дорожке, и через каждые несколько шагов перед ними возникали безмолвные фигуры людей, они появлялись — один из правой стены, другой из левой, пристально вглядываясь в лица идущих, и, отступая, снова растворялись в стене. Потом появлялись другие, похожие на первых, а может, и те же самые (Чонкин не успел заметить их лица), они опять пристально вглядывались и опять растворялись. И так продолжалось бесчисленное количество раз, и коридор казался длинным до бесконечности, но вот Плечевой остановил Чонкина и показал направо:

— Сюда!

Чонкин растерянно топтался на месте: перед ним была все та же стена, выложенная белыми блестящими плитками, в этих плитках отражались фигуры

Чонкина и Плечевого, но никакой двери, никакого намека на дверь не было и в помине.

— Чего ж ты стоишь? Иди,— нетерпеливо сказал Плечевой.

— Куда? — спросил Чонкин.

— Прямо иди, не бойся.

Плечевой подтолкнул его вперед, и Чонкин неожиданно для себя прошел сквозь стену, ничего не затронув, не зацепив, словно она была соткана из тумана.

И тут ему открылся просторный зал, ярко освещенный голубоватым, исходящим непонятно откуда светом. Большой продолговатый стол, стоявший посреди зала, был щедро уставлен выпивкой и закуской и был облеплен гостями как мухами.

По тому гулу, который шел за столом, по настроению гостей и по всей обстановке Чонкин сразу сообразил, что здесь происходит чья-то свадьба. И, посмотрев во главу стола, тотчас убедился, что был совершенно прав.

Во главе стола в белом подвенечном платье сидела Нюра, и лицо ее светилось от счастья. Рядом с ней, как положено, восседал на высоком стуле жених, бойкий такой парнишка в коричневой вельветовой куртке со значком «Ворошиловский стрелок» на правой стороне груди. Жених этот, усиленно размахивая короткими руками, весело и быстро говорил что-то Нюре и при этом зыркал озорными глазами то туда, то сюда, обратил внимание и на Чонкина и кивнул ему просто, по-дружески. Чонкин пригляделся к парнишке — вроде бы не из местных и не из армейских, и в то же время было такое ощущение, словно раньше где-то встречались, то ли выпивали, то ли еще чего, в общем — знакомы.

Нюра, увидев Чонкина, смешалась и опустила глаза, но потом, поняв, что так вести себя глупо, подняла их, теперь уже с вызовом, в котором было одновременно и желание оправдаться. Глаза ее как бы говорили: «Ты же мне ничего такого не предлагал, просто жил, и все, а мне чего ждать и на что надеяться? Ведь время идет, и здесь ничего не будет, и там не ухватишь. Вот поэтому оно так все и получилось».

Чонкину от всего этого стало как-то не по себе. Не то чтобы он ревновал (хотя было, конечно, и это), самое главное чувство, которое он испытывал в эту минуту, была обида. Ведь могла же сказать ему прямо, так, мол, и так, а он бы еще подумал, может быть, и женился. Но ведь ничего не сказала, а уж если не сказала, то зачем же на свадьбу звать? Разве что для насмешки.

Однако ничего этого он сейчас вслух не выразил и не показал даже виду, а поклонился, как положено, жениху и невесте и сказал вежливо:

— Здравствуйте.

А потом сделал поклон для всех остальных и им сказал общее:

— Здравствуйте.

На это ему никто не ответил, а Плечевой подтолкнул в спину к столу, там как раз стояла свободная табуретка. Чонкин устроился на этой табуретке и огляделся.

Слева от него сидел пожилой упитанный мужчина в вышитой украинской рубашке, подпоясанной шелковым крученым пояском. У него было круглое лицо с маленьким толстым носом и нависающими на глаза густыми выцветшими бровями. Голова была по темени лысая от природы, а по краям выбритая до блеска, с небольшим, заживающим уже порезом возле правого уха. На темени было несколько черных пятен, словно кто-то гасил об него окурки. Мужчина добродушно смотрел на нового соседа маленькими, заплывшими жиром глазками и приветливо улыбался.

Соседство справа было для Чонкина более приятным: здесь сидела молоденькая, лет семнадцати деви-

ца с едва развившейся грудью и с двумя хвостиками косичек с бантиками на концах. Девушка эта без всякой ложки, а прямо ртом ела размазанную по тарелке манную кашу с маслом и поглядывала украдкой на Чонкина любопытно и озорно. И тут только Чонкин заметил, что все сидящие за столом, как и его соседка, тычутся ртами в тарелки и никаких вилок или хотя бы ложек перед ними нет и вроде бы ни к чему. «Никак, чучмеки», — подумал Чонкин и вопросительно глянул на Плечевого, устроившегося напротив, на той стороне стола. Плечевой кивнул ему, чтобы он не волновался, дескать, все идет, как надо, а сидевшая рядом с ним краснелица женщина в крепдешиновом сарафане стала как-то странно подмигивать и строить разные рожи, отчего Чонкин смутился, покраснел и перевел взгляд на соседа, а тот улыбнулся ему и сказал:

— Ты, милоч, не робей, здесь все свои, и никто тебя не обидит.

— А я и не робею, — храбрясь, сказал Чонкин.

— Робеешь, — не поверил сосед. — Ты только делаешь вид, что не робеешь, а на самом-то деле еще ух как робеешь. Тебя как звать-то?

— Чонкин я, Ваня.

— А по отчеству?

— Васильевич, — охотно сообщил Чонкин.

— Это хорошо, — одобрил сосед. — Царь был когда-то Иван Васильевич Грозный. Слышал, небось?

— Вообще чего-то слышал, — подтвердил Чонкин.

— Хороший был человек, душевный, — с чувством сказал сосед. Пододвинул к Чонкину стакан с водкой, а другой взял себе. — Давай, Ваня, выпьем.

Чонкин собрался весь, задержал дыхание, как всегда, когда пил водку, чтобы пошла, а она оказалась без вкуса, без запаха, просто вода. Однако в голове зашумело, и настроение поднялось сразу, стал себя чувствовать Чонкин свободнее.

Подвинул к нему сосед тарелку с закуской — огурчики соленные, картошечка жареная. Поискал Чонкин глазами вилку, не нашел, хотел есть руками, сосед снова вмешался:

— А ты, Ваня, ротом прямо. Ротом-то оно способнее.

Послушался Чонкин, попробовал — и правда, приятнее и вкуснее. И на что люди вилки разные да ложки придумали. Мыть их надо. Морока одна.

А сосед все смотрел на него добродушно, улыбался. Да и спросил:

— А ты, Ваня, я на петлицы гляжу, летчиком, что ли, служишь?

Иван только хотел ответить как-то уклончиво, а тут соседка справа вмешалась.

— Нет, — писклявым сказала она голоском, — он на лошади ездит.

Удивился Чонкин: такая молодая, а все знает. Откуда бы?

— Неужто на лошади? — обрадовался сосед. — Это хорошо. Лошадь — это самое милое дело. Она тебе не гудит, не урчит, и бензином от ей не пахнет. И сколько ж у вас лошадей, интересно, в части?

— Четыре, — пропищала девушка.

— А вот и не четыре, — сказал Чонкин. — а три. Кобыла была пегая, ногу сломила. Ее на бойню отправили.

— Пегую отправили, а гнедая родила жеребеночка, — доказывала свое девушка.

— Ты с ей не спорь. Она знает, — сказал сосед. — Ты мне лучше вот что выскажи — эроплан быстрее бегаёт, чем лошадь, или же лошадь быстрее?

— Глупый вопрос, — сказал Чонкин. — Да он когда низко летит, так вот так прямо — вжик! — и нету его, а когда высоко заберется, тогда медленно.

— Ты скажи! — Сосед качнул головой изумленно

и начал задавать Чонкину другие вопросы — сколько ему лет, да давно ли в армии, как там кормят, как одевают и на сколько дают портянки. И Чонкин отвечал ему охотно и обстоятельно, пока не спохватился, что выбалтывает первому встречному совершенно секретную Военную Тайну. И как это его угораздило! Ведь сколько раз говорили, сколько предупреждали: не болтай! Болтун — находка для врага! А враг в вышитой рубашке уже совсем обнаглел и, не таясь, бегал карандашиком по разложенному на колене блокноту.

— Ты, слышь, ты чего это? — метнулся Чонкин к соседу и потянул руки к блокноту. — Отдай сюда!

— Да ты что, что кричишь-то? — засуетился сосед, свертывая блокнот в трубочку. — Чего кричишь? Люди вокруг чего подумают.

— А ты зачем пишешь? — не унимался Чонкин. — Тоже мне писатель нашелся. Отдай, говорят.

Он кинулся на своего противника и уже чуть было не ухватил блокнот, но сосед неожиданно быстрым движением сунул его в рот и в один миг проглотил вместе с карандашом.

— Нету, — сказал он, злорадно улыбаясь и разводя пустыми руками.

— Я тебе дам «нету», — зарычал Чонкин, кидаясь на него с кулаками. — Я у тебя из глотки выдеру.

И хотел действительно выдрать, но сосед увернулся и вдруг заорал не своим голосом:

— Го-орько!

Чонкин вспомнил, что находится на свадьбе, и, хватая соседа за горло, тоже для приличия прокричал: «Горько!» И все остальные следом за ним подхватили и со всех концов стола закричали:

— Горько! Горько!

А сосед между тем начинал уже малость похрипывать, и из горла его показался уже кончик блокнота. Чонкин хотел прихватить его еще и другой рукой и покосился на жениха и невесту — не смотрят ли. Но то, что он увидел, лишило его сразу всех сил и желания бороться за этот дурацкий блокнот.

Жених и невеста чинно поднялись, как и положено, когда кричат «горько», посмотрели на гостей, как бы спрашивая глазами, всерьез они или просто от нечего делать, потом, преодолев смущение, жених сделал руку крючком, притянул к себе резким движением Нюрину голову и впился своими губами в ее побледневшие губы. И Чонкин похолодел, сразу вспомнив, где, когда и при каких обстоятельствах он с ним встречался. И еще бы ему было не вспомнить, если жених был не кто иной, как кабан Борька, хотя и в вельветовой куртке, и со значком, и с виду похожий на человека, а все же кабан.

Чонкин хотел закричать людям, чтобы они обратили внимание на то, что здесь происходит, на то, что кабан целует человеческую девушку, но кричать было напрасный труд, потому что вокруг стоял такой шум, отовсюду слышалось: «Горько! Горько!» — и даже не «горько», а другое какое-то слово, тоже знакомое Чонкину. Он повел глазами вокруг и только сейчас осознал со всей ясностью, что здесь происходит, осознал, что за столом сплошь сидят никакие не люди, а обыкновенные свиньи, стучат копытами по столу и хрюкают, как и положено свиньям.

Чонкин закрыл лицо ладонями и опустил на табуретку. Господи, и что ж это такое происходит, и куда он попал. В жизни не поминал бога ни разу, а вот пришлось.

Очнувшись от тишины. Отвел от лица ладони. Свиньи со всех сторон молча смотрели ему в лицо. Они словно ждали от него какого-то действия. Ему стало нехорошо. Его съезило под этими взглядами. Потом взорвало.

— Ну, чего смотрите? Чего смотрите? — закричал он отчаянно, скользя глазами по этим рылам.

Но слова его не нашли никакого ответа и словно провалились в глубокий колодец.

Чонкин перекинул взгляд на соседа. Толстый пятипалый боров в вышитой украинской рубашке, не мигая, смотрел на него заплывшими жиром тупыми глазами.

— Ты, старый кабан, — закричал Чонкин, хватая соседа за плечи и встряхивая, — ты чего на меня уставился? Что?

Сосед ничего не ответил. Он только усмехнулся и сильными передними лапами молча оторвал руки Чонкина от своих плеч. Чонкин понял, что силой тут никого не возьмешь, и опустил голову.

И тут раздался громкий среди тишины голос кабана Плечевого:

— Чонкин, а ты почему же не хрюкал?

Чонкин вскинул голову на Плечевого — о чем это он?

— Ты не хрюкал, Чонкин, — стоял на своем Плечевой.

— Да, он не хрюкал, — солидно, словно желая только установить истину, подтвердил сосед Чонкина.

— Не хрюкал! Не хрюкал! — на весь зал пропищала молоденькая свинка, соседка с бантиком возле ушей.

Чонкин, ища спасения, глянул в сторону Нюры, которая одна среди всех сохранила в себе еще что-то человеческое. Нюра смущенно опустила глаза и тихо сказала:

— Да, Ваня, по-моему, ты не хрюкал.

— Интересно, — весело поблескивая глазами, сказал жених Борька. — Все хрюкают, а он нет. Может, тебе не нравится хрюкать?

У Чонкина пересохло во рту.

— Да я это...

— Что — «это»?

— Не знаю, — промямлил, потупившись, Чонкин.

— Он не знает, — весело пискнула молоденькая свинка.

— Да, он не знает, — с горечью подтвердил боров в украинской рубашке.

— Не понимаю, — развел лапами Борька. — Хрюкать — это же так приятно. Это такое для каждого удовольствие. Хрюкни, пожалуйста.

— Хрюкни, хрюкни, — зашептала молоденькая свинка, подталкивая Чонкина локтем.

— Ваня, — сказала ласково Нюра. — Хрюкни, ну что тебе стоит? Я раньше тоже не умела, а теперь научилась, и ничего. Скажи «хрю-хрю», и все.

— На что вам всем это нужно? — застонал Чонкин. — Ну, на что? Я же вам ничего не говорю, хрюкайте, если нравится, только я-то при чем? Я же все-таки не свинья, а человек.

— Он человек, — пропищала молоденькая свинка.

— Говорит — человек, — удивленно подтвердил боров в рубашке.

— Человек? — переспросил Борька.

Это утверждение Чонкина показалось настолько смешным, что все свиньи, дружно ударив копытами в стол, захрюкали от удовольствия, а сосед в вышитой рубашке ткнулся мокрым рылом в ухо Ивана. Тот схватился за ухо, но его уже не было: сосед, отвернувшись, спокойно его пережевывал, словно это было не ухо, а, скажем, какой-нибудь капустный лист.

Молоденькая свинка, высунувшись из-за Чонкина, с любопытством спросила:

— Вкусно?

— Дрянь, — поморщился тот, проглатывая пережеванное.

— Почему ж это дрянь? — обиделся Чонкин. — У тебя разве лучше?

— У меня свиное, — с превосходством ответил сосед. — Для холодца незаменимая вещь. Ты, чем болтать, хрюкай давай.

— Хрюкай, хрюкай, — зашептала соседка.

— Хрюкай, тебе говорят, — сказал Плечевой.

Чонкин рассердился.

— Хрю-хрю-хрю, — сказал он, передразнивая свиней. — Довольны?

— Нет, — поморщился Плечевой, — не довольны. Ты хрюкаешь так, как будто тебя заставляют. А ты должен хрюкать весело и от всей души, чтоб тебе самому это нравилось. Ну, давай хрюкай еще.

— Давай, — подтолкнула локтем свинка.

— Хрю-хрю! — закричал Чонкин, изображая на лице своем чрезвычайный восторг.

— погоди, — оборвал Плечевой. — Ты только делаешь вид, что тебе нравится, а на самом деле ты недоволен. Но мы не хотим, чтобы ты делал это против воли, мы хотим, чтоб тебе это нравилось по-настоящему. Ну-ка, давай-ка вместе. Хрю-хрю!

Он хрюкал сперва неохотно, но потом постепенно заразился восторгом Плечевого и сам уже хрюкал с тем же восторгом, от всей души, и на глазах его появились слезы радости и умиления. И все свиньи, которым передавалась его радость, захрюкали тоже и застучали копытами, и краснорожая свинья в крепдешинном сарафане лезла к нему через стол целоваться.

А кабан Борька вдруг выскочил из своей вельветовой куртки и, став уже совершенной свиньей, рванул по столу галопом, пронесся из конца в конец, вернулся обратно и снова впрыгнул в свою одежду. И тут с дальнего конца стола появились золотые подносы, свиньи подхватывали их и передавали дальше с копыт на копыта. «Неужто свинина?» — содрогнулся Чонкин, но тут же пришел в еще больший ужас, увидев, что это совсем не свинина, а даже наоборот — человечесина.

На первом подносе в голом виде и совершенно готовый к употреблению, посыпанный луком и зеленым горошком лежал старшина Песков, за ним с тем же гарниром шли каптенармус Трофимович и рядовой Самушин. «Это я их всех предал», — осознал Чонкин, чувствуя, как волосы на его голове становятся дыбом.

— Да, товарищ Чонкин, вы выдали Военную Тайну и предали всех, — подтвердил старший лейтенант Ярцев, покачиваясь на очередном подносе и играя посиновшим от холода телом. — Вы предали своих товарищей, Родину, народ и лично товарища Сталина.

И тут появился поднос лично с товарищем Сталиным. В свисавшей с подноса руке он держал свою знаменитую трубку и лукаво усмехался в усы.

Обуянный невыразимым ужасом, Чонкин опрокинул табуретку и кинулся к выходу, но споткнулся и упал. Схватился за порог пальцами и, обламывая ногти, хотел уползти, но не мог. Кто-то крепко держал его за ноги. Тогда он собрал все свои силы и, сделав невероятный рывок, больно ударился головой о крыло самолета.

...Стоял яркий, солнечный день. Чонкин сидел на сене под самолетом и, потирая ушиб на голове, все еще никак не мог понять, что происходит. Кто-то продолжал его дергать за ногу. Чонкин посмотрел и увидел кабана Борьку, не того, который сидел за столом в вельветовой куртке; а обыкновенного грязного (видно, только что вылез из лужи) кабана, который, ухватив зубами разматавшуюся на ноге Чонкина обмотку, тащил ее к себе, упираясь в землю короткими передними лапами и похрюкивая от удовольствия.

— Уйди, гад, зараза! — не своим голосом заорал Чонкин, едва ли не теряя сознание.

Борька, услышав голос хозяина и поняв его как призыв, с радостным визгом кинулся к Чонкину, чтобы поприветствовать, а если удастся, и лизнуть в ухо, но тут же получил страшной силы встречный удар каблукон в рыло. Не ожидавший такой встречи, он жалобно завизжал, отскочил в сторону и, припав к пыльной земле тем местом, которое у людей называется подбородком, вытянул вперед лапы, смотрел на Чонкина своими маленькими глазами и тихо, как собака, скулил.

— Я вот тебе поскулю,— остывая и приходя в себя, пригрозил Чонкин и огляделся. На траве рядом с ним лежало старое байковое одеяло, которое он, видимо, сбросил во сне. Тут же была и примятая камнем записка. Нюра писала, опуская, как всегда, гласные буквы, а если и ставила их, то чаще не то, что нужно: «Я ушла на рботу клич пыд плувицей, шчи в пчке, кушай н здравье, с прветам Нюра». За тем, что было написано, стоял, конечно, намек на то, что Нюра зло не помнит и готова примириться, если Иван не будет упрямымся.

— Как бы не так,— вслух сказал он и хотел разорвать записку, но потом передумал и, сложив ее вчетверо, сунул в карман гимнастерки. Но при упоминании о щач сразу засосало под ложечкой, и он вспомнил, что со вчерашнего обеда ничего не ел.

Борька, который до этого успокоился и замолчал, опять заскулил, как бы призывая обратить внимание на него, побитого и несчастного. Иван строго покосился на кабана, но у того действительно вид был настолько жалкий и обиженный, что Чонкин не выдержал и, хлопнув себя по ноге ниже колена, позвал: — Иди сюда!

Надо было видеть, с какой готовностью забыл Борька незаслуженную обиду и кинулся к хозяину, как радостно он визжал и хрюкал, тыча рылом Чонкина в бок, всем своим видом как бы говоря: «Я не знаю, в чем я перед тобой виноват, но я виноват, если ты так считаешь. Побей меня за это, убей, если хочешь, только прости».

— Ну, ладно, ладно,— проворчал Чонкин и стал чесать Борьку за ухом, отчего тот сразу повалился в траву, сперва на бок, потом перевернулся на спину и долго лежал так, закрыв от блаженства глаза и вытянув вверх сведенные вместе свои короткие, худые лапы.

Наконец Чонкину это надоело, он ткнул Борьку кулаком в бок и сказал:

— Пошел вон!

Борька мигонм вскочил на ноги, отбежал, посмотрел на Чонкина настороженно, но, не увидев в глазах его злобы, успокоился и погнался за пробегавшей мимо курицей.

Чонкин встал, отряхнул сено с одежды, заматал обмотку, поднял с земли винтовку и огляделся. На соседнем огороде, привычная уже, как часть пейзажа, маячила сутулая фигура Гладышева. Он ходил между грядками, нагибаясь над каждым кустом пукса и что-то над ним колдуя. Жена его, Афродита, грязная баба с заспанным лицом и нечесаными волосами, сидела на крыльце, держа на коленях годовалого сына Геракла (тоже жертва гладышевской эрудиции), и глядела на мужа с нескрываемым отвращением.

Чтобы читателю были понятны в дальнейшем отношении между селекционером и его женой, надо остановиться хотя бы вкратце на поучительной истории этого неравного брака.

Гладышев женился на Афродите года за два до описываемого здесь периода, когда ему было уже сильно под сорок. Пять лет до этого (после смерти матери) жил в одиночестве, справедливо полагая, что

семейная жизнь мало способствует научному творчеству. Ну, а к сорока годам (то ли природа стала брать свое, то ли одиночество утомило) решил он все же жениться, хотя это оказалось делом нелегким, при всем том, что невест в деревне было в избытке. Его разговоры насчет замечательного гибрида невесты еще терпели и соглашались даже на то, чтобы вдвоем, рука об руку нести сквозь жизнь бремя научного подвига, надеясь, впрочем, что дурь эта у Гладышева со временем пройдет сама по себе. Но, когда дело было уже на мази и невеста перешагивала порог будущего своего дома, редкая выдерживала хотя бы четверть часа. Одна, говорят, бухнулась в обморок уже на второй минуте. И вот почему. Удобрения для своих селекционных опытов Гладышев держал на дому в специальных горшочках. Это были и торфоперегнойные горшочки, и горшочки с коровьим и конским навозом, и горшочки с куриным пометом. А удобрениям Гладышев придавал большое значение. Он их смешивал в разных пропорциях, выдерживал на печке, на подоконнике, при определенной температуре, давал перебродить. И не только летом, но и зимой — при закрытых-то окнах!

И лишь будущая Афродита, которая никаких иллюзий насчет своих чар не имела, вынесла все до конца. Очень хотелось замуж.

Гладышев, когда понял, что у него другого выбора нет, решил было навсегда оставить мечту о женитьбе, но потом рассудил иначе. Насчет Ефросиньи было у него такое соображение, что, если он ее, никому не нужную, подберет, уж она потом за такое его благородство заплатит полной преданностью и ему, и его науке.

Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает. Ефросинья сперва и правда платила, но, родивши Геракла, стала вести с этими горшочками войну под предлогом вредности для ребенка. Сначала намеками и уговорами, потом скандалами. Выносила горшки в сени. Гладышев вносил их обратно. Пробовала бить эти горшки, Гладышев бил ее, хотя вообще насилия не одобрял. Несколько раз уходила она с ребенком к родителям, жившим на другом конце деревни, но каждый раз мать прогоняла ее обратно.

В конце концов смирилась она со всем, на все махнула рукой и за собой перестала следить. И раньше красавицей не слыла, а сейчас и вовсе бог знает на что стала походить.

Вот, собственно, и вся эта история вкратце.

А теперь вернемся к тому, с чего начали мы свой рассказ.

Итак, Чонкин стоял возле своего самолета, Гладышев копался на огороде, а Афродита с ребенком на руках сидела на крыльце и смотрела на мужа с нескрываемым отвращением.

— Слышь, сосед, здорово! — закричал Чонкин Гладышеву.

Тот разогнулся над очередным кустом пукса, двумя пальцами приподнял шляпу и чинно ответил:

— Желаю здравствовать.

Чонкин, прислонив винтовку к самолету, оставил ее и подошел к забору, разделявшему два огорода.

— Что-то ты, сосед, я гляжу, возишься на этом огороде, возишься. Не надоело?

— Да ведь как сказать,— со сдержанным достоинством ответил Гладышев.— Я ведь не для себя, не в виде личной наживы, а ради научного интереса. А ты никак сегодня под эропланом ночевал?

— А нам, татарам, один черт, где ночевать.— пошутил Чонкин.— Сейчас время теплое — не зима.

— А я утром вышел, гляжу: чьи-то ноги из-под эроплана торчат. Неужто, думаю, Ваня нынче на улице ночевал? Еще и Афродите говорю: «Погляди, мол, кажись, Ванины ноги из-под эроплана торчат».

Слышь, Афродита! — закричал он жене, призывая ее в свидетели. — Помнишь, утром я тебе говорил: «Погляди, мол, кажись, Ванины ноги из-под эроплана торчат».

Афродита смотрела на него все с тем же выражением лица, не меняя его и никак не реагируя на обращенные к ней слова.

Чонкин посмотрел на Гладышева, вздохнул и неожиданно для самого себя вдруг сказал:

— А я, слышь, с бабой своей поругался, ушел я от ней, понял? Потому на улице нынче и ночевал.

— А что так? — обеспокоился Гладышев.

— Да так, слышь, — уклонился от прямого ответа Иван. — Я ей, слышь, одно, она мне, слышь, другое, словом по слову, носом по столу, так все и пошло. Я, слышь, плюнул, взял шинелку, винтовку, мешок — а что у меня еще? — и на двор.

— Вон оно как повернулось, — удивленно покачал головой Гладышев. — То-то я сегодня утром вышел и гляжу, уж не твои ли ноги из-под эроплана торчат. Значит, ты с ней поругался?

— Да вот поругался, — погрузился еще больше Иван.

— А может, и правильно сделал, — предположил Гладышев. Он с опаской поглядел на жену и перешел на шепот: — Если хочешь знать, я тебе вот что скажу: не связывайся ты, Ваня, с этими бабами. Беги от них, пока молодой. Ведь они... Ты посмотри хотя б на мою. Вон она сидит, змея гремучая, у ней язык, Ваня, ты когда поближе разговаривать будешь, обрати внимание, раздвоенный. Ну, чисто змеиное жало. А скормлю я от нее, Ваня, горя натерпелся, это ни в сказке сказать, ни пером описать. Да разве ж только я? Все мужчины от ихнего пола страдают невероятно, возьми хоть современную эпоху развятия, хоть факты из исторического прошлого. — Покосившись на жену, он зашептал еще тише, словно сообщал сверхсекретную новость: — Когда царь Николай Первый сослал декабристов у Сибирь, черт-те куда, так ихни жены на этом не успокоились, а свои шмотки собрали и поперли туды за ими, несмотря, что железной дороги в те поры не было. И лошадей позагоняли, и ямщиков перемучили, и сами чуть не подохли, а все же добрались, вот ведь какое дело. Я, Ваня, про Ньюрку художого ничего не скажу — она женщина образованная и с понятием, — а все же беги ты от ней, покуда не поздно.

— Я бы побег, — сказал Чонкин. — да этот вот драндулет не пускает. — Он кивнул в сторону самолета и, подумав, добавил печально: — Да и исть охота. Кишка кишке бьет по башке.

— Исть хочешь? — удивился Гладышев. — Господи, да чего ж ты раньше не сказал? Да пошли ко мне. Сейчас примус разожгем, яишню с салом сготовим. Самогоночки маленько, — он подмигнул Чонкину, — есть. Пошли. Поглядишь заодно, как живу.

Чонкин не заставил себя долго упрашивать, спрятав винтовку под сено, перелез через забор и, осторожно ступая меж грядок, пошел за хозяином, который независимой походкой шагал впереди. Взошли на крыльцо. Афродита болезненно поморщилась и отвернулась.

— Хочь бы клеенку под дите подстелила, — проворчал на ходу Гладышев, — а то ведь напрудит — весь подол провоняет.

Афродита равнодушно подняла глаза, равнодушно сказала:

— Ты лучше в избе понюхай. И дай гостю понюхать.

Сказала и отвернулась.

Гладышев открыл дверь, пропустил Чонкина в сени.

— Слыхал, как она со мной разговаривает? — сказал он Ивану. — И вот так каждый день. Дура гряз-

ная. У меня-то вонища с научной целью, а у нее в виде неряшества.

За сениями было темно. Гладышев зажег спичку, осветившую узкий коридор и дверь, обитую изодранной мешковиной. Гладышев растворил эту дверь, и оттуда сразу шибануло таким запахом, что Чонкина зашатало от неожиданности, так что если бы он сразу не зажал нос двумя пальцами, то, может быть, и упал бы. С зажатым носом он и вошел в избу вслед за хозяином. Тот обернулся к нему и сказал одобряюще:

— Спервоначалу оно, конечно, малость шибает, а я вот уже привык, и мне ничего. Ты одну ноздрю приоткрой, а когда пообыкнешь, принохасься, открой и вторую. Запах как будто противный, а на самом деле здоровый и для организма пользительный, имеет различные ценные свойства. К примеру, французская фирма «Коти» из дерьма изготвляет духи тончайшего аромата. Ну, ты тут пока погляди, как живу, а я мигом сварганю яишню, и мы с тобой подзакусим, а то я что-то тоже исть захотел.

И пока он в горнице накачивал и разжигал примус, гость его остался в передней и, привыкая к запаху, открывал по совету хозяина то одну ноздрю, то другую и разглядывал комнату, в которой было на что поглядеть.

Первое — это сами горшочки. Их было великое множество, и стояли они не только на печке и подоконнике, но и на лавке возле окна и под лавкой за спинкой железной кровати с неубранной постелью и разбросанными как попало подушками.

Над кроватью, как положено, висели стеклянные рамочки с цветочками и голубями по уголкам, в рамочки были вделаны фотографии хозяина дома с младенческих лет до последнего времени, фотографии жены его, Афродиты, и многочисленных ближайших родственников с обеих сторон. Над этим иконостасом был укреплен общий портрет супругов Гладышевых, выполненный на заказ из разных карточек и так старательно раскрашенный неизвестным исполнителем, что лица, изображенные на портрете, не имели решительно никакого сходства с оригиналами.

Другая стена, против окна, была музейная. На ней в таких же стеклянных рамочках были помещены уже упоминавшиеся нами печатные отклики на научные изыскания Гладышева, и в отдельной рамочке хранилось то самое письмо от известного сельхозакадемика, о котором мы также упоминали.

На стене между окнами висело одноствольное ружье шестнадцатого калибра, которое, как догадывается, конечно, читатель, должно когда-нибудь выстрелить, впрочем, еще неизвестно, выстрелит оно или даст осечку, это будет видно по обстоятельствам.

Чонкин еще не успел как следует рассмотреть все, что было в этой комнате, как яичница была готова и Гладышев позвал его к столу.

Здесь было то же не ахти как убрано, но все же почище, чем в передней. Здесь стояла горка с посудой, была подвешена к потолку люлька — ложе Геракла, и стоял старый сундук без крышки, заваленный растрепанными книгами, преимущественно научного содержания (как, например, «Мифы Древней Греции» или популярная брошюра «Муха — активный разносчик заразы»), а также неполной подшивкой журнала «Нива» за 1912 год. Сундук этот был основным источником, из которого Гладышев черпал свою эрудицию.

На большом столе, покрытом клеенкой с коричневыми кругами от горячей посуды, шипела в сковородке яичница с салом, и, как Чонкина ни мутило от запаха (хотя он к нему и правда немного привык), а от голода мутило сильнее, он не заставил повторять приглашение, а без лишнего церемоний уселся за стол.

Гладышев достал из ящика стола две вилки, вытер



об майку, одну положил перед гостем, а другую, со сломанным зубом, взял себе. Чонкин хотел сразу ткнуть вилкой в яичницу, но хозяин его остановил:

— Погоди.

Достал с горки два пропыленных стакана, посмотрел на свет, поплевал в них, протер тоже майкой, поставил на стол. Сбежал в сени, принес неполную бутылку, заткнутую скрученной в жгут газетой, налил полстакана гостю и полстакана себе.

— Вот, Ваня,— сказал он, придвинув к себе табуретку и продолжая начатый разговор,— мы привыкли относиться к дерьму с этакой брезгливостью, как будто это что-то плохое. А ведь если разобратся, так это, может быть, самое ценное на земле вещество, потому что вся наша жизнь происходит из дерьма и в дерьмо опять же уходит.

— Это в каком же смысле? — вежливо спросил Чонкин, поглядывая голодными глазами на остывающую яичницу, но не решаясь приступить к ней раньше хозяина.

— А в каком хошь,— развивал свою мысль Гладышев, не замечая нетерпения гостя.— Посуди сам. Для хорошего урожая надо удобрить землю дерьмом. Из дерьма произрастают травы, злаки и овощи, которые едим мы и животные. Животные дают нам молоко, мясо, шерсть и все прочее. Мы все это потребляем и переводим опять на дерьмо. Вот и происходит, как бы это сказать, круговорот дерьма в природе. И, скажем, зачем же нам потреблять это дерьмо в виде мяса, молока или хотя бы вот хлеба, то есть в переработанном виде? Встает законный вопрос: не лучше ли, отбросив предубеждение и ложную брезгливость, потреблять его в чистом виде, как замечательный витамин? Для начала, конечно,— поправился он, заметив, что Чонкина передернуло,— можно удалить естественный запах, а потом, когда человек привыкнет, оставить все, как есть. Но это, Ваня, дело далекого будущего и успешных дерзаний науки. И я предлагаю, Ваня, выпить за успехи нашей науки, за нашу Советскую власть и лично за гения в мировом масштабе товарища Сталина.

— Со встречей,— поспешно поддержал его Чонкин.

Ударилось стекло о стекло. Иван опрокинул содержимое своего стакана и чуть не свалился со стула. У него сразу отшибло дыхание, словно кто-то двинул под ложечку кулаком. Ничего не видя перед собой, он ткнул вилкой наугад в сковородку, оторвал кусок яичницы и, помогая другой рукой, закинул ее в рот, проглотил, обжигаясь, и только после этого выдохнул расправивший легкие воздух.

Гладышев, опорожнив свой стакан без труда, смотрел на Ивана с лукавой усмешкой.

— Ну как, Ваня, самогончика?

— Первачок что надо,— похвалил Чонкин, вытирая ладонью проступившие слезы.— Аж дух зашибает.

Гладышев все с той же усмешкой придвинул к себе плоскую консервную банку, бывшую у него вместо пепельницы, плеснул в нее самогон и зажег спичку. Самогон вспыхнул синим неярким пламенем.

— Видал?

— Из хлеба или из свеклы? — поинтересовался Чонкин.

— Из дерьма, Ваня,— со сдержанной гордостью сказал Гладышев.

Иван поперхнулся.

— Это как же? — спросил он, отодвигаясь от стола.

— Рецепт, Ваня, очень простой,— охотно пояснил Гладышев.— Берешь на кило дерьма кило сахару...

Опрокинув табуретку, Чонкин бросился к выходу. На крыльце он едва не сшиб Афродиту с ребенком и в двух шагах от крыльца уперся лбом в бревенчатую стену избы. Его рвало и выворачивало наизнанку.

Следом за ним выбежал растерянный хозяин. Громко топая сапогами, сбежал он с крыльца.

— Ваня, ты что? — участливо спросил он, трогая Чонкина за плечо.— Это ж чистый самогон, Ваня. Ты же сам видел, как он горит.

Иван что-то хотел ответить, но при упоминании о самогоне новые спазмы схватили желудок, и он едва успел расставить ноги пошире, чтобы не забрызгать ботинки.

— О господи! — с беспросветной тоской высказалась вдруг Афродита.— Еще одного дерьмом напоил, ирод проклятый, погибли на тебя нету. Тыфу на тебя! — Она смачно плюнула в сторону мужа.

Он не обиделся.

— Ты, чем плевать, яблочка моченого из погребка принесла бы. Плохо, вишь, человеку.

— Да какие там яблочки! — застонала Афродита.— Те яблочки тоже насквозь пропахли дерьмом. По всей избе одно сплошное дерьмо, чтоб тебе провалиться, чтоб тебе в нем утопнуть, идиот несчастный. Уйду я от тебя, идола, побираться буду с дитем, чем в дерьме погибать.

И, не откладывая дела в долгий ящик, она подхватила с Гераклом и кинулась вон за калитку. Гладышев, оставив Чонкина, побежал за женой.

— Куды ты бежишь, Афродита! — закричал он ей вслед.— Вернись, тебе говорят. Не выставляй перед народом и себя, и меня на позорище. Эй, Афродита!

Афродита остановилась, обернулась и зло закричала ему в лицо:

— Да какая ж я тебе Афродита? Фроська я, попял, обормот вислоухий, Фроська!

Повернулась и, высоко держа на растопыренных руках перепуганного насмерть ребенка, побежала по деревне дальше, подпрыгивая и спотыкаясь.

— Фроська я, слышите, люди, я — Фроська! — выкрикивала она с таким остервенелым наслаждением, как будто после долгой немоты вновь обрела вдруг дар речи.

21 июня послу Германии в СССР Шуленбургу было передано заявление, в котором говорилось, что, по полученным сведениям, германские войска скапливаются у западных границ Советского Союза. Советское правительство просило правительство Германии дать разъяснения по этому поводу. Это заявление было передано Гитлеру, когда до начала войны оставались минуты.

В это время Чонкин, накануне помирившийся с Нюрой, еще спал. Потом почувствовал малую нужду и проснулся. Некоторое время он лежал, не решаясь выбраться из-под теплого одеяла и втайне надеясь, что его желание пройдет само по себе. Но желание не проходило. Он дождался того момента, когда нельзя было терять уже ни секунды. Сунув ноги в ботинки и накинув на голые плечи шинель, он выскочил на крыльцо, а дальше не побежал, было некогда.

Утро было ясное, свежее. На траве, на листьях деревьев, на плоскостях самолета лежала густая роса. Солнце уже оторвалось от горизонта и на глазах сужалось. Красные отблески его лежали на стеклах домов. Стояла полная тишина, нарушаемая время от времени тихим и сонным мычанием коров. Чонкин хотел было разбудить Нюру, чтобы она подоила и выгнала в стадо Красавку, но потом передумал и решил сделать все сам. Правда, когда он брал подойник, Нюра проснулась и хотела подняться, но он ей сказал:

— Ладно, спи дальше.

И пошел в хлев.

Подойв Красавку, он открыл ей одну половинку ворот, но корова не выходила: она привыкла, что перед ней раскрывают ворота настежь. «Вот скотина», — подумал Чонкин и хотел протянуть ее вдоль спины засовом, но пожалел.

— Давай выметайся,— миролюбиво проворчал он, открывая вторую половинку ворот.

Красавка, презрительно покосившись в сторону Чонкина, прошла мимо и, торжественно покачивая головой, увенчанной короткими рогами, направилась к выходу из двора.

Тут подоспело и стадо.

Коровы разбрелись по всей широкой улице и, на ходу принохиваясь к столбам и заборам, сонно вздыхали.

Позади стада, раскачиваясь на лошади, ехал новый пастух Леша Жаров. Вместо седла под ним была старая телогрейка. Ее рваные рукава висели и, как маятники, раскачивались в такт ходу лошади.

Увидев пастуха, Чонкин захотел поговорить с ним и, подойдя к калитке, крикнул:

— Эй, слышь ты! Как вообще жизнь-то?

Леша потянул на себя уздечку, остановил лошадь и с любопытством посмотрел на Чонкина, которого видел впервые.

— Жизнь вообще-то ничего,— сказал он, подумав.— Подходящая жизнь.

Помолчали. Потом Чонкин посмотрел на ясное небо и сказал:

— Сегодня, видать по всему, будет ведро.

— Будет ведро, если не будет дождя,— сказал Леша.

— Без туч дождя не бывает,— заметил Чонкин.

— Без туч не бывает.

— А бывает так, что и тучи есть, а дождя все равно нету.

— Бывает и так,— согласился Леша.

На этом они расстались. Жаров поехал догонять стадо, а Чонкин вернулся в избу.

Нюра спала, раскинувшись по всей кровати. Будить ее было жалко. Чонкин походил немного по избе, но,

не найдя себе никакого занятия, все-таки подошел к Нюре.

— Слышь ты, подвинься,— сказал он, тронув ее за плечо.

Солнце уже светило прямо в окно, пыльный луч его упирался в противоположную стену, на которой висели ходики с покореженным циферблатом. Ходики были старые, механизм пропылился, в нем что-то шуршало и щелкало. Стрелки показывали четыре часа — в это время немцы бомбили Киев.

Конец первой части.

1963—1967

Часть вторая

1

Известие о начале войны свалилось точно снег на голову, потому что никто не думал, не предполагал. Правда, недели за полторы до этого баба Дуня широко распространила свой сон, будто ее курица Клашка родила козла с четырьмя рогами, однако знатоки толковали данное видение как безобидное; в худшем случае, рассуждали, к дождю. Теперь все приобрело иное значение.

Чонкин о случившемся узнал не сразу, потому что сидел в уборной и никуда не спешил. Его время было не считано. Оно было отпущено ему не для чего-то высшего, а просто так. Чтобы созерцать протекавшую жизнь, не делая выводов. Чтобы есть, пить, спать и отправлять свои естественные надобности не только в моменты, определенные уставом караульной и гарнизонной службы, а по мере возникновения.

Летняя уборная стояла на огороде. Солнечные лучи протыкали насквозь это хилое сооружение. Жужжали зеленые мухи, и паук из угла спускался на паутинке, словно на парашюте.

На стене справа, наколотые на гвоздик, висели квадратные куски газет. Чонкин срывал их по очереди и прочитывал, получая при этом немало отрывочных сведений по самым разнообразным вопросам. Ознакомился с некоторыми заголовками:

АЛСЯ ЛЕЧЕБНЫЙ СЕЗОН НА ВОЛОГОДСКИХ КУРОРТАХ
ЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СИР
ЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТ
ОБЕЛЕН «ЛЕНИН И СТАЛИН В ОКТЯ

Заметку «ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕСТ США» прочел полностью:

Берлин, 18 июня (ТАСС). По сообщению Германского информационного бюро в штабс США в ноте от 6 июня требовалось от германского поверенного в делах в Вашингтоне, чтобы сотрудники германской информационной библиотеки в Нью-Йорке, агентства Трансокеанского железнодорожного общества покинули территорию Соединенных Штатов. Требуем, чтобы сотрудники затаивались якобы недопустимой деятельностью Германского правительственного отклонения, как необоснованные, и за что протест против действий США по речащим договору.

Не успел Чонкин задуматься о действиях США, как до слуха его донесся отдаленный Нюрин призыв:

— Ва-аня!

Чонкин насторожился.

— Ваня! И где ты?

Ему было неудобно отзываться, и он молчал.

— Вот леший тебя побери, и куда подевался! — шумела Нюра, приближаясь кругами. Выхода не было, пришлось откликаться.

— Ну, чего шумишь? — подал он голос, невольно смущаясь. — Издесь я.

Нюра была уже совсем рядом. Сквозь вылетевший сучок он увидел ее лицо, красное от возбуждения.

— Выходи быстрее! — сказала Нюра. — Война!

— Еще чего не хватало! — не то чтобы удивился, но опечалился Чонкин. — Неужто с Америкой?

— С Германией!

Чонкин озадаченно присвистнул и стал застегивать пуговицы. Ему что-то не верилось, и, выйдя наружу, он спросил у Нюры, кто ей такую глупость сморозил.

— По радио передавали.

— Может, брешут? — понадеялся он.

— Не похоже, — сказала Нюра. — Все до конторы побегли на митинг. Пойдем?

Он призадумался и склонил голову набок.

— Раз уж такое дело, мне, пожалуй что, не до митинга. Вот он, мой митинг, чтоб он сгорел, — сказал Чонкин и злобно плюнул в сторону самолета.

— Брось, — возразила Нюра. — Кому он нужен?

— Был не нужен, теперь пригодится. Поди послушай, чего говорят, а я постою, погляжу, как бы не налетели.

Минуту спустя с винтовкой через плечо он ходил вокруг самолета и вертел головой, ожидая нападения либо Германии, либо начальства. У него уже болела шея и рябило в глазах, когда обостренным слухом уловил на нарастающий звук «зы-зы-зы».

«Летит!» — встрепенулся Чонкин и вытянул шею. Перед глазами мелькнула точка. Сейчас она увеличится, постепенно принимая растущие очертания самолета... Но точка вдруг вовсе пропала, и звук прекратился. Тут же что-то кольнуло Чонкина, он хлопнул себя по лбу и убил комара. «Это не самолет», — сказал он себе самому и отер комара о штаны.

То ли от хлопка по лбу, то ли по причине немеханической в мозгу Чонкина что-то сдвинулось, и от сдвига родилась тревожная мысль, что он зря здесь проводит время, что никому он не нужен и никого за ним не пришлют. Он и раньше не думал о каком-то особом своем предназначении, но все же не сомневался, что когда-то его о чем-то попросят. Пусть не о многом попросят, хотя бы об ерунде, хотя бы о том, чтобы жизнь свою отдал безвозмездно ради чего-нибудь подходящего. По всему выходило, что и жизнь его не нужна никому. (Конечно, может быть, с точки зрения великих свершений такое скромное явление природы, как жизнь Чонкина, стоило самую малость, но у него не было ничего более ценного, чем он мог бы поделиться с родным отечеством.)

В печальном сознании своей бесполезности Чонкин покинул объект охраны и двинулся к конторе, вблизи которой собрался и ждал разъяснения народ.

2

Широким полукругом люди стояли перед высоким крыльцом, обнесенным перилами. Все терпеливо смотрели на обитую драным войлоком дверь, надеясь, что выйдет начальство и добавит подробностей. Мужики хмуро дымили сигарками, бабы тихонько плакали, дети растерянно поглядывали на родителей, не понимая наступившей печали, потому что для детского воображения на свете нет ничего веселее войны.

Была середина дня, палило солнце, время стояло на месте, начальство не появлялось. От нечего делать люди, слово по слову, разговорились. Плечевой, оказавшийся, как всегда, в центре внимания, утешал сограждан, что война эта продлится не дольше, чем

47

до ближайшего дождя, когда вся германская техника непременно потопнет на наших дорогах. Курзов с ним соглашался, но предлагал взять во внимание факт, что немец, вскормленный на концентрате, может выдюжить многое. Между собравшимися потерянно толкаясь дед Шапкин, несмотря на свои девяносто лет, угасающий рассудок и полную глухоту. Шапкин пытался выяснить, ради чего такое собрание, но никто не хотел ему отвечать. Наконец, Плечевой сжалился и, сделав вид, будто держится за ручки станкового пулемета, неслышными деду звуками изобразил длинную очередь:

— Ды-ды-ды! — А затем, словно подсакивая на лихом скакуне, стал размахивать над головой воображаемой саблей.

Дед принял это как должное, однако заметил, что в старые времена хлеб сеяли, а потом убирали, прежде чем молотить.

Постепенно толпа расплзлась на отдельные кучки, в каждой из которых шел свой разговор, не имевший отношения к тому, что случилось. Степан Луков спорил со Степаном Фроловым, что если сцепить слона с паровозом, то слон перетянет. Плечевой, набравшись нахальства, утверждал, что по клеточкам может срисовать любого вождя или животное.

В другое время Чонкин подивился бы незаурядному дарованию Плечевого, но теперь было не до того. Занятый своими печальными мыслями, он отошел за угол, где находился разрушенный штабель сосновых бревен. Иван выбрал себе бревно несмолистое, сел и положил на колени винтовку. Не успел достать масленку с махоркой — подоспел Гладышев.

— Сосед, не дашь ли газетки угоститься твоей махорочкой, а то спички дома забыл.

— На, — сказал Чонкин, не глядя.

Уже и махорка кончалась.

Гладышев закурил, затаился, сплюнул крошку, поправив на язык, и шумно вздохнул:

— Эхе-хе!

Чонкин молчал, глядя прямо перед собой.

— Эхе-хе! — еще шумнее вздохнул Гладышев, пытаясь обратить на себя внимание Чонкина.

Чонкин молчал.

— Не могу! — всплеснул руками Гладышев. — Разум отказывается воспринимать. Это ж надо совесть какую иметь — кушали наше сало и масло, а теперь подносят свинью в виде вероломного нападения.

Чонкин и на это ничего не ответил.

— Нет, ты подумай только, — горячился Гладышев. — Ведь просто, Ваня, обидно до слез. Люди, Ваня, должны не восвать, а трудиться на благо будущих поколений, потому что именно труд превратил обезьяну в современного человека.

Гладышев посмотрел на собеседника и вдруг сообразил:

— А ведь ты, Ваня, небось и не знаешь, что человек произошел от обезьяны.

— По мне хоть от коровы, — сказал Чонкин.

— От коровы человек произойти не мог, — убежденно возразил Гладышев. — Ты спросишь: почему?

— Не спрошу, — сказал Чонкин.

— Ну, можешь спросить. — Гладышев пытался втянуть его в спор, чтобы доказать свою образованность. — А я тебе скажу: корова не работает, а обезьяна работала.

— Где? — неожиданно спросил Чонкин и в упор посмотрел на Гладышева.

— Что — где? — опешил Гладышев.

— Я тебя пытаю: где твоя обезьяна работала? — сказал Чонкин, раздражаясь все больше. — На заводе, в колхозе, на фабрике — где?

— Вот дурила! — заволновался Гладышев. — Да какие ж заводы, колхозы и прочее, когда всюду была

непрерывная дикость. Ты что, паря, не при своих? Это ж надо такое ляпнуть! В джунглях она работала, вот где! Сперва на деревья лазила за бананами, потом палкой их стала сшибать, а уж опосля и камень в руки взяла...

Не давая Чонкину опомниться, Гладышев начал бегло излагать теорию эволюции, объяснил исчезновение хвоста и шерсти, но довести свою лекцию до конца не успел: возле конторы наметилось шевеление, народ зашумел, сгрудился перед крыльцом. На крыльце стоял парторг Килин.

3

— По какому случаю собрались?

Свободно облокотясь на перила, Килин переводил взгляд своих маленьких рыжих глаз с одного лица на другое, ожидая, пока все уgomонятся и стихнут.

Люди переглянулись, не зная, как объяснить очевидное.

— Ну? — Килин остановил взгляд на бригаде полевых. — Ты что скажешь, Шикалов?

Шикалов смутился, попятился, наступил на ногу Плечевому, получил подзатыльник и остановился с раскрытым ртом.

— Я жду, Шикалов, — напомнил Килин.

— Да ведь я... Да ведь мы... Так сообщение ж было, — обрел наконец голос Шикалов.

— Какое сообщение?

— Вот тебе раз! — удивился Шикалов, озираясь как бы в поисках свидетелей. — Чего дурочку валяешь? Не слышал, что ли? Было сообщение.

— Что ты говоришь! — Килин всплеснул руками. — Неужто было сообщение? И что ж в этом сообщении говорилось: что больше никому работать не надо, а надо собираться в кучу и создавать толпу?

Шикалов молча поник головой.

— И что за люди! — с высоты своего положения сетовал Килин. — Никакой тебе сознательности. Вам, я вижу, хотя б и война, только бы не работать. Всем разойтись, и чтоб через пять минут я здесь не видел ни одного человека. Ясно? Ответственность возлагаю на бригадиров Шикалова и Талдыкина.

— Так бы сразу и сказал! — обрадовался Шикалов привычному делу и повернулся лицом к толпе: — А ну разойдись! Эй, мужики, бабы, поглотили, что ль? Кому говорят! Ты что стоишь, хлебальник раззявила! — Шикалов, выставив вперед волосатые руки, пихнул бабу с ребенком. Баба заорала. Закричал и ребенок.

— Ты чего толкаиси? — попытался вступить за бабу Курзов. — Она же с дитем.

— Иди, иди! — двинул его плечом Шикалов. — С дитем, не с дитем, кажный будет тут еще рассуждать.

Подлетел и маленький Талдыкин, набросился на Курзова, уперся ему в живот маленькими ручонками.

— Ладно, ладно, милый, — затараторил он скороговоркой. — Нечего зря шуметь, нервы тратить, пойдешь домой, отдохни, попей винца...

— А ты не толкайся! — все еще противился Курзов. — Нет такого закона, чтобы толкаться.

— А никто и не толкается, — ворковал Талдыкин. — Я только так шчекочусь.

— И шчекотаться закону нету, — упорствовал Курзов.

— Вот тебе закон! — заключил Шикалов, поднеся к носу Николая огромный свой кулачище.

А Талдыкин мелкой шавкой носился уже среди прочего населения, то выныривая, то пропадая.

— Расходись, народ, расходись! — повизгивал он тонким своим, ласковым своим голоском. — Чего вытарачился? Здеся вам не зверинец. В город ехайте,

там зверинец. А ты, дедушка,— схватил он Шапкина за рукав,— заснул, что ли? Топай отседова, ничего тут для тебя, ничего интересного нет. Твой интерес на погосте, понял? На погосте, говорю! — кричал Талдыкин в заросшие седым пухом дедовы уши.— Три дня, говорю, лишнего уже живешь! Топай, дедушка, переставляй свои ножки. Вот так! Вот так!

Постепенно Шикалов и Талдыкин одержали полную победу над своими односельчанами. Площадь перед конторой временно опустела.

4

Указание парторга некоторых удивило. Оно удивило бы и его самого, если бы не... Впрочем, все по порядку.

Около трех часов до того Килин и Голубев «сидели на телефоне», по очереди крутили ручку полевого аппарата. Председатель сменял парторга, парторг председателя, и все без толку. В железной трубке что-то шуршало, трещало, щелкало, играла музыка, голос диктора повторял сообщение о начале войны, и какая-то женщина проклинала какого-то Митю, пропившего самовар и ватное одеяло. Однажды ворвался сердитый мужской голос и потребовал Соколова.

— Какого Соколова? — спросил Голубев.

— Сам знаешь,— ответил голос.— Передай ему, что, если не явится завтра к восьми ноль-ноль, будет отвечать по законам военного времени.

Председатель только хотел объяснить, что никакого Соколова здесь нет, но сердитый голос пропал, и неведомый Соколов, может быть, сам того не подозревая, уже готовил себя к трибуналу.

Уступив место парторгу, Голубев отошел в угол, открыл металлический сейф для секретных и денежных документов, сунул в него голову и стал похож на фотографа, который сейчас скажет: «Спокойно, снимаю». Однако ничего подобного он не сказал. В сейфе послышалось негромкое бульканье, после чего Иван Тимофеевич вынул голову и обтер рукавом губы. Встретив осуждающий взгляд парторга, он достал из сейфа амбарную книгу с какими-то записями, полистал без интереса и положил на место. Плевать, подумал он равнодушно, теперь все равно. Война все спишет. Только бы скорее на фронт, а там — грудь в крестах, голова в кустах — все по-честному. Правда, по причине плоскостопия Иван Тимофеевич к военной службе был непригоден, но недостаток этот он надеялся скрыть от комиссии.

Пока Голубев строил планы на будущее, Килин продолжал упорно крутить ручку телефонного аппарата. В трубке было слышно все, что угодно, кроме того, что было нужно.

— Алло, алло! — кричал он время от времени.

Кто-то сказал ему: «Съешь дерьма кило», — но он не обиделся.

— Брось,— посоветовал Иван Тимофеевич.— Митинг проведем, протокол составим, и ладно.

Килин посмотрел на него долгим взглядом и с еще большим остервенением набросился на аппарат. И вдруг в трубке самым волшебным образом возник бархатный голос телефонистки:

— Станция!

Килин от неожиданности так растерялся, что слова не мог вымолвить, только сопел в мокрую от потных рук трубку.

— Станция! — повторила телефонистка таким тоном, словно на своем коммутаторе только и дожидалась, чтобы ей позвонили из Красного.

— Девушка! — очнулся и закричал Килин, боясь, как бы она не исчезла.— Миленькая, будь добра... со вчерашнего звоню... Борисова... срочно нужен...

— Соединяю,— просто сказала девушка, и в трубке так же волшебным образом возник мужской голос:

— Борисов слушает.

— Сергей Никанорыч,— заторопился парторг.— Килин беспокоит, из Красного. Мы тебе с Голубевым звоним, связи нет, народ ждет, работа стоит, время горячее, не знаем, что делать.

— Недопонял,— удивился Борисов.— Недопонял, чего не знаете. Митинг провели?

— Да нет же.

— Почему?

— Почему? — переспросил Килин.— Не знали, как быть. Дело, сам понимаешь, ответственное, а указания нет...

— Теперь допонял.— Голос Борисова иронически завибрировал.— А ты, если по малой нужде идешь, ширинку сам расстегиваешь или указания дожидаться?

Борисов обрушил на плешивую голову Килина весь запас своего сарказма, как будто сам минуту назад не звонил по всем телефонам в надежде на то же спасительное указание.

— Ну, ладно,— сменил он, наконец, гнев на милость.— Надо провести стихийный митинг в свете выступления товарища Молотова, и как можно быстрее. Собери народ...

— Народ давно собрался,— радостно доложил Килин и подмигнул председателю.

— Ну, вот и хорошо,— замурлыкал Борисов.— Хорошо...— повторил он уже не столь уверенно. И спохватился: — Недопонял!

— Чего недопонял? — удивился Килин.

— Недопонял, как собрался народ, какой народ, кто собирав.

— Никто не собирав,— сообщил Килин.— Сами собрались. Поверишь? Как услышали радио, так тут же сбежались: мужики, старики, бабы с ребятишками...

Говоря это, Килин почувствовал, что Борисову чем-то не нравится его сообщение (оно и самому Килину уже чем-то не нравилось), и, не закончив своей торжественной фразы, он вдруг умолк.

— Так,— произнес Борисов раздумчиво.— Так-так. Сами, значит, услышали, сами сбежались... Вот что, милый, ты подожди меня и трубочку пока не бросай...

Опять в трубке слышались шорохи, треск, музыка и прочие ясные и неясные звуки.

— Ну что? — шепотом спросил председатель.

— Пошел к Ревкину согласовывать,— прикрыв трубку ладонью, высказал догадку парторг. Он несколько раз менялся в лице, краснел, бледнел и грязным платком промокал угловатую плешь.

Два раза врывалась телефонистка:

— Говорите?

— Говорим, говорим,— поспешно отвечал Килин.

Наконец в трубке что-то отдаленно грюкнуло, послепало и снова влез вкрадчивый голос Борисова:

— Послушай, друг ситцевый, у тебя партбилет с собой?

— А как же, Сергей Никанорыч,— заверил Килин.— Завсегда, как положено, в левом кармане.

— Вот и ладно,— одобрил Борисов.— Садись на лошадку и дуй торопливо в райком. И билет захвати.

— Зачем? — не понял Килин.

— На стол положишь.

Такого оборота Килин все-таки не ожидал. Он посмотрел на председателя, который как раз в этот момент, пользуясь важностью разговора, двинулся к сейфу, но остановился на полдороге и фальшиво ответил взглядом на взгляд, как бы проявляя должную заинтересованность.

— За что же, Сергей Никанорыч? — спросил Ки-

лин упавшим голосом.— Да чего ж я такого наделал?
— Анархию развел, вот чего ты наделал! — Борисов ронял слова, как свинцовые капли.— Да где ж это видано, чтобы народ сам по себе собирался без всякого контроля со стороны руководства?

У Килина внутри все остыло.

— Так ведь, Сергей Никанорыч, ты ж сам... вы ж сами говорили: стихийный митинг...

— Стихийей, товарищ Килин, нужно управлять! — отчеканил Борисов.

В трубке что-то щелкнуло. Опять заиграла музыка, и неизвестная женщина сказала неизвестному Мите, что одеяло она ему прощает, а самовар пусть достает, где хочет.

— Алло, алло! — закричал Килин, думая, что прервали. Но телефонистка вежливо объяснила, что товарищ Борисов свой разговор закончил. Килин медленно положил на рычаг скользкую трубку и перевел дыхание. «Это ж надо,— думал он сокрушенно,— вроде все делал, как надо, а чуть не вляпался в политическую ошибку. А ведь все так просто и понятно. Мог и сам своим умом догадаться: стихией нужно управлять. Если даже она сама движется в желательном направлении, ее надо возглавить, иначе она может решить, что она вообще может двигаться сама по себе. Вот он в чем корень! Это еще хорошо, что Борисов сказал «товарищ». А мог бы сказать «гражданин». Политическую ошибку допустить легко. Исправить трудно. Как говорится, для исправления таких ошибок у нас есть «исправительные лагеря».

— Ну что он сказал? — дошел до Килина вопрос председателя.

— Кто? — спросил Килин.

— Борисов, кто ж еще. Указание дал?

— Указание? — переспросил иронически Килин.— А ты, когда по малой нужде идешь, тоже указания спрашиваешь? Действовать надо, вот и все указание.

С этими словами Килин и вышел тогда на крыльцо. А председатель, пользуясь случаем и не дожидаясь никаких указаний, снова нырнул головой в сейф и долго из него не выныривал.

5

Управлять стихией — дело, конечно, трудное, но для многих привычное.

После того как толпа, хотя и с видимой неохотой, но все-таки рассосалась, бригадиры Шикалов и Талдыкин вернулись к конторе и сидели на завалинке, ожидая дальнейших распоряжений начальства.

— И что это за народ такой! — еще не остыв от недавних усилий, удивился Талдыкин.— Ты его гонишь, а он не идет! Каждый упирается, как баран, и ни с места! Ведь, я так понимаю, если начальство говорит «разойдись» — разойдись. Начальство лучше знает, что делать, с нашими головами туды не посюдут. Так нет ведь, каждый еще норовит свой гонор показать и каждый из себя принца строит.

— Что да, то да,— рассудительно согласился Шикалов.— Вот раньше, когда я еще молодой был, мы таких-то гоняли винтовками.— Он задумался и усмехнулся, вспомнив отдаленный момент своей биографии.— Помню, еще в шашнадцатом годе служил я в Петербурде хельдхебелем. А народ там проживал такой, что работать не хотят, а с утра пораньше берут тряпочки разные, на их фулюганские слова пишут, потом на палки нацепют и идут на улицу — грамотность свою показать. И вот, бывало, отберешь у его эту тряпку да еще скажешь в сердцах: «Ах ты, фулюган эдакий, да и что ж ты такое делаешь?» А ён говорит: «Это не я, говорит, фулюган, а ты, говорит, фулюган, это не я, говорит, у тебе тряпку цапая, а ты у мене цапаясь». А я говорю: «Это не я,

говорю, фулюган, а ты, говорю, фулюган, потому что я, говорю, с ружжом, а ты без».

— И какие ж они слова на тех тряпках писали? — заинтересовался Талдыкин, надеясь, что матерные.

— Слова-то? — переспросил Шикалов.— Я ж тебе говорю: фулюганские. Ну там «долгой Ленина», «долгой Сталина» и прочтче.

Тут Талдыкин засомневался.

— Погодь,— остановил он Шикалова.— Чтой-то ты не то говоришь. В шашнадцатом годе Ленина и Сталина еще и не было вовсе. То есть они-то, конечно, были, но государством рабочих и крестьян покуда не управляли.

— Да? — спросил Шикалов.

— Да,— ответил Талдыкин.

— Выходит дело, Ленина не было, Сталина не было. А кто ж тогда был?

— Известно кто,— сказал Талдыкин уверенно.— В шашнадцатом годе был царь Николай Александрович, император и самодержец.

— Глупый ты, Талдыка,— посочувствовал Шикалов.— Не зря у тебя такая фамилия. Бригадир, а калганом своим сообразить не можешь, что Николай, он был опосля. А до его еще был Керенский.

— Даже противно слушать,— выходил из себя Талдыкин.— Керенский разве ж царь был?

— А кто же?

— Пример-министр.

— Путаешь,— вздохнул Шикалов.— Все на свете перепутал. Как Керенского звали?

— Александр Федорович.

— Во. А царь был Николай Александрович. Стало быть, евоный сын.

У Талдыкина голова пошла кругом. Хотел возразить, да не знал что.

— Ну, хорошо,— сказал он.— А когда ж, по-твоему, была революция?

— Кака революция?

— Октябрьская.— Талдыкин напирал на то, что было ему известно доподлинно.— Она была в семнадцатом годе.

— Это я не знаю,— решительно мотнул головой Шикалов.— Я в семнадцатом тож в Петербурде служил.

— Так она ж в Петербурде и была,— обрадовался Талдыкин.

— Нет,— убежденно сказал Шикалов.— Может, где в другом месте и была, а в Петербурде не было.

Последнее сообщение окончательно сбilo с толку Талдыку. До сих пор он считал себя знакомым с историей вопроса, знал, что, где и в какой последовательности происходило, но Шикалов осветил все настолько по-новому, что Талдыкин подумал, подумал и, сводя все на нет, сказал неуверенно:

— А сейчас, я слыхал, эти самые демонстрации вовсе и не разгоняют. Племяш мой прошлый год в Москву попал на Первое Мая, и вот, говорит, идет через площадь народу целая масса, кричат «ура», а Сталин стоит на Мавзолее и ручкой помахивает.

Из окна высунулся Килин и велел Шикалову подняться в контору. Шикалов поднялся. В председателском кабинете кипела работа. От табачного дыма было темно, как в бане. Примостившись на краешке письменного стола, парторг карандашом писал кому за кем выступать, сразу определяя, какие (бурные, продолжительные или простые) должны быть аплодисменты. Написанное подвигал председателю, а тот хотя и одним пальцем, но довольно бойко перестукивал все на машинке.

— Ну, что скажешь, Шикалов? — спросил Килин, не отрываясь от своего сочинения.

— Да вот.— Шикалов подошел к столу.— Все, стало быть, сделано, как велели.

- Значит, всех разогнали?
- Всех,— подтвердил бригадир.
- Всех до одного?

— До одного. Талдыка один остался. Прогнать?

— Пока не надо. Возьми его в помощь, и чтоб через полчаса все, как один человек, снова были перед конторой. Кто не придет — перепишешь.— Парторг, подняв голову, посмотрел в глаза бригадира.— А кто откажется, будет сваливать на хворость или еще чего — двадцать пять трудодней штрафу и ни грамма меньше. Ты меня понял, Шикалов?

— Угу,— мрачно кивнул Шикалов.— Можно сполнять?

— Валяй,— разрешил парторг, снова утыкаясь в письмо.

Шикалов вышел. Талдыкин сидел на крылечке, курил.

— Пошли,— на ходу коротко бросил Шикалов.

Талдыкин встал и пошел рядом. Пройдя шагов пятьдесят, догадался спросить:

— Куды идем?

— Народ обратно сгонять.

Нельзя сказать, чтобы Талдыкин прямо рот раскрыл от удивления или еще чего-нибудь, но все же полубопытствовал:

— А почто ж разгоняли?

Тут Шикалов остановился и посмотрел на Талдыкина.

Там, в конторе, он несколько не удивился, ибо вообще не умел удивляться. Сказано — разгонять, разогнал. Приказано согнать обратно, пожалуйста. Вопрос товарища заставил его задуматься, может быть, первый раз в жизни. Действительно, а зачем же тогда разгоняли? Почесал Шикалов в затылке, подумал и догадался:

— А я понял почто. Чтоб место освободить.

— Для кого?

— Как для кого? Для народа. Чтоб было куда сгонять.

Тут уж Талдыкин не выдержал и возмутился.

— Во! — покрутил он у виска пальцем.— Я, может, и глупой, но у тебя-то калган и вовсе не варит.

— А у тебе варит?

— А у мене варит.

— Ладно, пушай,— согласился Шикалов.— Пушай у тебе варит. Тогда ты мне разобъясни, для чего народ разгоняли?

— Для удовольствия,— сказал Талдыкин уверенно.

— Ну и ляпнул! — покрутил головой Шикалов.— Для кого же здесь удовольствие?

— Для начальства,— сказал Талдыкин.— Для него народ вроде бабы. Ежли ты ее попросил, а она тут же тебе согласилась, то интересу никакого в ней нет. А вот ежли она сперва попротивилась, побрыкалась, а уж после ты ее взял, то в этом и есть самое удовольствие.

— Это ты правильно говоришь,— оживился Шикалов.— Помню, в Петербурде у меня была одна дамочка...

Что за дамочка была у Шикалова и какая между ними приключилась история, автор, за давностью лет, признаться, не помнит, но что известно доподлинно, кворум возле крыльца конторы через некоторое время был восстановлен. И действительно (Талдыкин был прав) народ в этот раз понемногу сопротивлялся и приходилось на каждого воздействовать по отдельности (кому в шею, кому под зад). Но ведь так и должно быть (и в этом прав был Талдыкин): без сопротивления у победителя нет удовольствия от победы.

Митинг — это такое мероприятие, когда собирается много народу и одни говорят то, что не думают, а другие думают то, что не говорят.

Вышли на крыльцо председатель с парторгом, и началась обычная процедура. Парторг объявил митинг открытым и предоставил слово председателю. Председатель предложил выбрать почетный президиум и предоставил слово парторгу. Так они несколько раз поменялись местами, и, когда один говорил, другой хлопал в ладоши, призывая к тому же и остальных. Остальные хлопали вежливо, но торопливо, надеясь, что дальше им скажут что-нибудь по существу.

— Товарищи! — начал парторг свою речь и услышал рыдания. Он недоволено глянул вниз, кто, мол, там нарушает, и увидел лица людей.

— Товарищи! — повторил он и почувствовал, что не может сказать дальше ни слова. Только сейчас до него дошло со всей очевидностью, что именно произошло, какое горе свалилось на всех и на него в том числе. И на фоне этого горя все его недавние страхи и хитрости показались ему ничтожными. И ничтожным, пустым и глупым казался ему сейчас текст, написанный у него на бумажке. Что он может сказать этим людям, которые от него сейчас ждут таких слов, которых он даже не знает? Еще минуту назад он сам себе казался не таким, как другие, представителем некоей высшей силы, которая знает и понимает, куда, что и как должно двигаться. Сейчас он не знал ничего.

— Товарищи! — начал он еще раз и беспомощно посмотрел на председателя.

Председатель кинулся в контору за водой. Графина в конторе не было, но был бачок с краном и кружкой на цепочке. Председатель наступил на цепочку ногой и оторвал кружку с половиной цепочки. Когда кружка оказалась перед Килиным, он ухватился за нее двумя руками и, пытаясь прийти в себя, долго пил маленькими глотками.

— Товарищи! — начал он в четвертый раз.— Вероломное нападение фашистской Германии...

Произнес первую фразу, он почувствовал облегчение. Постепенно он овладевал текстом, и текст овладевал им. Привычные словосочетания притупляли ощущение горя, уводили сознание в сторону, и вскоре язык Килина болтал уже что-то сам по себе, как отдельный и независимый член организма. Отстоим, ответим ударом на удар, встретим героическим трудом...

Плач в толпе прекратился. Произносимые Килиным слова колебали барабанные перепонки, но в души не проникали. Мысли людей возвращались к обычным заботам. Из толпы выделялся один только Гладышев, который стоял у самого крыльца и, широко разведя руки для предстоящих аплодисментов, внимательно следил за развитием мысли оратора.

— Правильно! — убежденно восклицал он в нужных местах и кивал головой в широкополой соломенной шляпе.

Чонкин стоял позади всех и, положив подбородок на ствол винтовки, пытался выискать в суть речи Килина, который, пересказав выступление Молотова, перешел от общего к частному — к конкретным делам родного колхоза. За последнее время колхоз достиг новых небывалых успехов. В сжатые сроки с применением передовых методов агротехники был произведен сев зерновых и бобовых культур. Парторг сообщил, сколько чего посеяно и на какой площади, сколько посажено картофеля и других овощей, сколько вывезено на поля навоза и химических удобрений. Заглядывая в свою бумажку, он сыпал цифрами, как арифмометр.

Чонкин ел парторга глазами, но какая-то неясная мысль мешала ему сосредоточиться и сопоставить все эти цифры. Он беспомощно поднял голову, оглянувшись и вдруг увидел: вдалеке, по нижней дороге вдоль речки, гнедая лошадь устало тащила телегу, в которой поверх товара сидела Раиса, продавщица из магазина меляпо. И, увидев эту отдаленную картину, Иван вдруг понял, что то, чего он никак не мог вспомнить, каким-то образом связано не то с Раисой, не то с телегой, не то с лошадью. Осененный пробуждающимся воспоминанием, стал он сквозь толпу продираться к своему соседу и другу, который с широко разведенными для аплодисментов руками стоял впереди всех, на самом виду.

— Слышь, что ли, сосед,— добравшись до Гладышева, Чонкин толкнул его под локоть.— я вот тебя спитать хочу, а как же лошадь?

— Какая лошадь? — недоуменно повернулся Гладышев.

— Ну, лошадь, лошадь,— сердился Чонкин на непонятливость Гладышева.— Скотина на четырех ногах. Она ж работает. А почему ж в человека не превращается?

— Тьфу ты, мать твою за ногу! — Гладышев даже плюнул в досаде и как раз не вовремя, потому что раздались общие аплодисменты. Спихватившись, лекционер быстро залпескал ладонями, преданно глядя на оратора, чтобы плювок его не отнесли к тому, что говорилось с трибуны.

Тем временем оратор закончил положительную часть своего выступления и перешел к критической части.

— Но, товарищи,— сказал он,— наряду с большими успехами в деле повышения урожайности есть у нас и отдельные недостатки, которые, если их собрать вместе, выглядят довольно, я бы сказал, злоеде. Например, Горшкова Евдокия постоянно задерживает уплату подоходного налога и налога по самообложению. Решетов Федор допустил потраву личной скотиной колхозных угодий, за что был оштрафован правлением на сорок трудодней. Стыдно, товарищи, стыдно. Уж куда далеко ходить, когда даже наш бригадир товарищ Талдыкин проявил нетоварищеское отношение к женщине, а именно на Иванов день, находясь в нетрезвом состоянии, ударил жену оглоблей. Талдыкин, было такое дело или не было? Молчишь? Стыдно. И нам всем за тебя стыдно. Ну, провинилась перед тобой жена, пошлепай ее по заднице (оживление, смех), ну ремешок употреби, никто ничего не скажет. А оглобля — вещь довольно тяжелая.

Теперь, товарищи, перехожу к следующему вопросу. Этот вопрос для нас больной, очень больной. Я имею в виду невыработку минимума трудодней. По этому вопросу у нас сложилась такая картина, что хоть хватайся за голову и кричи не своим голосом. У нас, к сожалению, есть еще отдельные люди, которые разделяют: это мое, а это колхозное, и не хотят работать, выставляя напоказ свои старости и болезни. И тут первое место сзади занимает товарищ Жикин Илья. Он установил по этому делу, можно сказать, своеобразный рекорд, выработав с начала года и до сего дня ноль целых и семьдесят пять сотых одного трудодня. (Оживление. Смех. Возглас Гладышева: «Позор!»). Я, конечно, понимаю, что Жикин является инвалидом гражданской войны, не имея двух ног. Но теперь он этими своими ногами спекулирует. Руководство колхоза и партийная организация состоят не из зверей, и мы можем войти в положение. Никто, товарищи, Жикина не заставляет работать кульером либо на сенокосе. Но на прополке вполне можно работать. Сел себе в борозду и потихоньку ползай от кусточка к кусточку, выдирая травку и выполняя

минимум трудодней. И нечего совать нам в лицо свои ноги, которых нет. (Возглас Гладышева: «Правильно!»)

Оратор помолчал, оценивая впечатление, произведенное на участников митинга, и не спеша продолжал:

— Вот, товарищи, прочитал я недавно книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Это очень хорошая книга, и я советую каждому ее прочитать, кто грамотный. Там рассказывается о человеке, который, пройдя сквозь огни и воды революции и гражданской войны, остался не то что без ног и без рук, но еще ослеп на оба глаза и, прикованный к постели болезненными цепями, нашел в себе силу и мужество служить своему народу и написал книгу. От вас никто этого не требует. Вы книгу не напишете. Но почитать советую. И в частности вам, товарищ Жикин, лично. Здесь он или нет? (Голос Шикалова: «Нет») Вот видите, не уважил, не пришел даже по такому случаю. Вы скажете, что он без ног. Я и сам это знаю. Но когда ему нужно, он ездит на своих колесиках не хуже, чем другие на велосипеде. Вот Иван Тимофеевич не даст соврать, мы однажды за Жикиным бежма бежали, а догнать не сумели. Так можно было сюда приехать на колесиках? Можно. Человек он, конечно, заслуженный, и никто этих заслуг у него не отнимает. Но прошлые заслуги никому не дают права потчевать на лаврах, хотя и без ног. (Возглас Гладышева: «Правильно!»).

Закончив критику недостатков, парторг снова уткнулся в бумагу, потому что дальше следовала торжественная заключительная часть, в которой не стоило делать ошибок.

Чем дольше парторг говорил, тем большее беспокойство отражалось на лице председателя. Толпа, стоявшая перед ним, заметно редела. Сперва скрылась за углом конторы баба Дуня. За ней через некоторое время ушла и пропала Нинка Курзова. Это не укрылось от глаз Тайки Горшковой, которая, толкнув локтем своего мужа Мишку, показала ему глазами на Нинку. Аплодируя очередной фразе оратора, Тайка с Мишкой стали передвигаться к углу конторы. Когда в том же направлении двинулся Степан Луков, председатель молча показал ему кулак. Луков остановился. Но стоило Ивану Тимофеевичу на миг отвернуться, как среди участников митинга не осталось ни Лукова, ни Фролова, и его, Голубева, жена тоже как испарилась. Председатель поманил пальцем беспокойно озиравшегося Шикалова, тот на цыпочках поднялся на крыльцо, выслушал отданное шепотом приказание, покивал головой, исчез и больше не появлялся.

Всего этого не замечал парторг Килин, читая заключительную часть своей речи. Но когда, дойдя до конца, он поднял голову навстречу ожидаемым аплодисментам, то увидел только спины своих слушателей, дружно удалявшихся в неизвестном направлении. На пыльной площади перед конторой стоял один только Чонкин. Опершись подбородком на ствол винтовки, он предавался печальным мыслям о происхождении человека.

(Продолжение следует.)

Владимир
ВОЙНОВИЧ

ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА

*Роман-анекдот
в пяти частях*



Рисунки Г. Новожилова

Продавщица Раиса сидела у себя в магазине, размышляя над непонятным. Вчера она получила в райпотребсоюзе партию товара и, решив использовать лошадь, поехала сразу не домой, а совсем в другую сторону, к золовке, жившей за двенадцать километров от Долгова. У золовки она выпила красного вина, послушала патефон, сама попела, легла поздно и поздно встала. Потом, пока позавтракала (опять с красным вином), пока запрягла, часу в двенадцатом только выехала. В пути пробыла долго, никого не встретив. И наконец прибыла в деревню, ничего не ведая относительно происходящих в мире событий. Правда, при въезде в деревню она видела большую толпу возле конторы, но не придала увиденному значения, подумав: «Может, просто так».

Подъехав к магазину, Раиса разгрузила товар и стала раскладывать по полкам. Вот тут-то и появилась перед ней баба Дуня. И попросила продать ей пятьдесят кусков мыла.

— Сколько? — оторопела Раиса.

— Пятьдесят.

— Да куды ж тебе столько? — недоумевала Раиса.

— Да ведь, Раюшка, когда такие дела творятся, — заискивающе сказала бабка, — надо же и запастись.

— Да какие ж такие дела?

— Да ведь... — Баба Дуня хотела сослаться на вероломное нападение, но вовремя сообразив, что Раиса не имеет об этом понятия, стала бормотать что-то насчет прибывающих к ней гостей. Раисе такое объяснение не показалось удовлетворительным.

— На что ж гостям столько мыла? — не могла она дойти своим умом до сути. — Ну два куска, ну три, ну десять. Но полсотни на что ж?

— Мало ли, — уклончиво покачала головой баба Дуня, но отступать вовсе не собиралась.

— Коли уж тебе так надо, бери, — сдалась Раиса. Она вытащила из угла распечатанный ящик с мылом, в нем оказалось всего тридцать восемь кусков, из них два Раиса взяла себе.

— А мешочка не дашь? — спросила баба Дуня, провожая отложенные два куска сожалеющим взглядом.

— А возвернешь? — спросила Раиса.

— Как же не возвернуть! — Баба Дуня даже обиделась. — Мне, Раюшка, чужого не надо, чай не ворюка.

Раиса помогла уложить купленное в грязный мешок и выбросила на прилавок.

— Еще чего?

— Сольцы бы, — помявшись, вздохнула бабка.

— Сколько?

— Да пудика полтора.

— Ты что, бабка, одурела, что ль? Что ты с ей будешь делать-то, с солью?

— Капустки засолить надо, огурцов, помидоров.

— Какие ж сейчас огурцы да помидоры? Может, ботву засолишь?

— Можно и ботву, — согласилась баба Дуня. — А потом оно ж, знаешь, как бывает. Нынче соль есть, а завтра нету, либо соль есть — денег нет. Так что ты уж не сердчай, а отпусти мне сольцы-то.

— Ну ладно, — сдалась Раиса. — Пуд дам, больше и не проси.

— Ну давай хоть пуд, — уступила и старуха, предвидя, что время ее на исходе.

Сыпать соль было некуда. Пришлось выложить мыло, насыпать соли, потом переложить газетами и сверху набросать мыло.

Продолжение. Начало см. в № 12 за 1988 год.

— Все, что ли? — с надеждой спросила Раиса.
Старуха помялась и нерешительно спросила:
— Спичек бы мне еще.
— Сколько? — тоскливо спросила Раиса. — Тыщу коробков?

— Да ты что, тыщу, — благородно вознегодовала старуха. — Коробков сто, боле не надо.

— Десять дам, — сказала Раиса.

Сошлись на двадцати. Бабка больше спорить не стала, покидала спички в мешок. Раиса, прикинув на счетах, назвала сумму. Баба Дуня запустила руку под трикотажные рейтузы, долго шарила, затем вытащила узелок из грязной цветастой тряпицы, набитой сложенными один к одному рублями. Старуха была не шибко грамотна, но деньги считать умела. Несмотря на это, она выкладывала свои рубли по одному, каждый раз останавливаясь и глядя на Раису в мистической надежде, что та скажет «хватит». Раиса была терпелива и дождалась, покуда бабка выложит все, что нужно. На оставшиеся деньги старуха купила два килограмма сухих дрожжей, шесть пачек грузинского чая, две пачки зубного порошка «Утро» и для племянницы маленькую куклу в картонной коробке, на которой было написано: «Кукла Таня № 5 в шляпе».

После этого старуха не стала терять время даром и взвалила мешок на плечо.

— Гляди, бабка, как бы пупок не развязался! — крикнула ей вдогонку Раиса.

— Не бойсь, — ответила бабка и скрылась за дверью.

Не успела Раиса обдумать странное поведение бабы Дуни, как дверь распахнулась, в магазин вбежала Нинка Курзова. Косынка сбилась набок, волосы распланы, лицо красное. Не поздоровавшись, стала шарить воспаленными глазами по полкам.

— Тебе чего, Нинок? — доброжелательно спросила Раиса.

— Чего? — Нинка стала лихорадочно соображать, что именно ей нужно, но то, что помнилось по дороге, теперь вдруг вылетело из головы.

— Ну, а все ж таки?

— Мыло есть? — вспомнила Нинка, чего хотела.

— А много тебе? — осторожно спросила Раиса, покосившись на те два куска, которые оставила для себя.

— Сто кусков, — лягнула Нинка.

— Да вы посбесились, что ли? — не выдержала Раиса.

— Ну, девяносто, — сбавила Нинка.

— А сто девяносто не хошь?

— Давай сколько есть, только быстрее, — согласилась Нинка.

— Да где ж я тебе возьму, когда баба Дуня только что все забрала.

— А, баба Дуня!

Нинка кинулась к дверям, но Раиса поспела раньше и загородила собой выход.

— Пусти! — ткнулась в нее Нинка.

— Погоди, Нинок, скажи мне, что это вы все за мылом бегаете? Чего случилось-то?

На какой-то миг Нинка оторопела и удивленно уставилась на Раису.

— А ты не знаешь, что случилось?

— Не.

— Ну и дура! — сказала Нинка и, оттолкнув Раису, выскочила наружу.

№ 5 (да еще в шляпе) и на мешок килограмм надо накинуть. Что ни говори, тяжесть получилась порядочная. Чем дальше, тем чаще старуха отдыхала, прикладываясь мешком к близлежащим заборам. Однако ж, говорят, своя ноша не тянет. И сознание удачного приобретения прибавляло сил. И вот, когда, отдохнув последний раз, баба Дуня была уже рядом со своей избой, когда оставалось ей шагов, может быть, десять, от силы пятнадцать, кто-то сзади резко дернул мешок.

Баба Дуня обернулась и увидела Нинку Курзову.

— Бабка, скидывай мешок, будем делиться, — быстро сказала Нинка.

— Ась? — В момент личных катаклизмов баба Дуня сразу глохла на оба уха.

— Давай делиться, — повторила Нинка.

— А кто ж у меня будет, Нинушка, тельиться? — посетовала старуха. — Я корову свою еще прошлый год продала. Мне ее не прокормить. А коза зимой окотилась, а весной околела. — Бабка сокрушенно качнула головой и улыбнулась.

— Ты мне, бабка, своей козой голову не дури, а давай мыло, — сказала Нинка.

— Нет, — отказалась бабка, — полы не мыла. Не успела.

— Бабка, — устало сощурилась Курзова. — Давай делиться по-хорошему. Не то все отберу. Поняла?

— Не подняла, — вздохнула старуха. — Нешто с моими силами...

— Бабка! — Начиная выходить из себя, Нинка опустила мешок, ухватила старуху за грудки и закричала ей в самое ухо: — Ты, бабка, болтай что хошь, а мыло давай. Что ж тебе все одной? У меня тоже семья и дети... скоро будут. Скидывай мешок, не тни.

— А, ты насчет мыла! — против желания догадалась старуха. — А ты поди к Раисе, у ней есть.

— Врешь! — крикнула Нинка.

— Ты не кричи, — обиделась бабка, — я, чать, не глухая. Надо тебе, попроси — дам. А как же. Все ж таки суседи. Ежли мы друг дружке помогать не будем, то кто ж?

Бабка опустила мешок на землю и, испытывая Нинкино терпение, долго его развязывала непослушными пальцами. Потом запустила внутрь руку и стала шарить, обшупывая куски. Ей хотелось выбрать кусок поменьше, но каждый следующий казался ей больше предыдущего. Наконец, она вздохнула, вытащила один кусок и положила перед собой на траву. И посмотрела печальным взглядом. Конечно, это был слишком большой кусок, и старуха мысленно резала его пополам, но воображение Нинки рисовало совсем иную картину. Баба Дуня еще раз вздохнула и стала завязывать мешок.

— Погоди, бабка! — Нинка опять ухватила за мешок. — Ты это брось, давай дели по-честному. — Сколько там есть, половину тебе, половину мне. Не то все отберу.

— Нинок, ты что? — всерьез забеспокоилась бабка. — Обижаеть старуху. Я ведь тебя еще маленькую в колыске качала. Ты уж лучше пусти, не то закричу.

— Кричи, кричи! — сказала Нинка и толкнула старуху в грудь.

— Батюшки! — всхлинула баба Дуня, валясь на спину.

Не обращая на нее никакого внимания, Нинка схватила мешок и кинулась прочь. Пробежав несколько шагов, остановилась, вернулась, подцепила с земли тот кусок мыла, который выкладывала баба Дуня, и побежала обратно. Но тут кто-то схватил сзади мешок.

— Ух ты, вражина! — замахнулась Нинка, думая, что это баба Дуня. Но, обернувшись, увидела перед

Баба Дуня тащила свою добычу. Ноша была нелегкая. Одной соли пуд, да мыла тридцать шесть кусков по четыреста граммов каждый. Плюс к тому два килограмма дрожжей, зубной порошок, кукла Таня

собой Мишку Горшкова, за которым стояла Тайка.
— Не спеши,— улыбнулся Мишка.— Давай поровну.

— Шас поровняю,— сказала Нинка, дергая мешок к себе.— Спешу аж падаю.

— И-и! — завизжала Тайка и вцепилась в Нинкины волосы.

— Грабют! — вскрикнула Нинка и двинула Тайке ногой в живот. А из-за огорода Степана Фролова уже надвигалась огромная толпа, во главе ее стремился Плечевой и размахивал над головой колом, выдернутым из чьего-то забора.

9

Когда председатель Голубев, парторг Килин, а за ними и Чонкин прибыли к месту происшествия, глазам их предстало неповторимое зрелище. Участники митинга, сбившись в один клубок, представляли собой многоголовую, многорукую и многоногую гидру, которая гудела, дышала и шевелила всеми своими головами и конечностями, как бы пытаясь вырвать что-то из собственного нутра. Отдельные люди были заметны частично и лишь в перепутанном виде. У председателя кольхнулись на голове редкие волосы, когда он увидел у вылезавшего из кучи Степана Фролова женские груди, которые при дальнейшем рассмотрении оказались принадлежащими Тайке Горшковой. Две разведенные в стороны ноги в парусиновых сапогах стремились втянуться обратно, а третья, с задранной штаниной, босая, торчала вертикально в виде антенны, и на ней от щиколотки до колена синела размытая временем татуировка: «правая нога».

Грустная эта картина дополнялась собаками, которые, сбежавшись со всей деревни, носились вокруг общей неразберихи и отчаянно лаяли. Среди них Чонкин, к удивлению своему, заметил и кабана Борьку, который бегал, хрюкал и визжал больше всех, словно пытался показать себя самой главной собакой.

Друга своего и соседа Гладышева Чонкин нашел неподалеку стоящим над схваткой. Заложив руки за спину, с болью за своих односельчан наблюдал Кузьма Матвеевич вскипевшие страсти.

— Вот, Ваня, тебе наглядное доказательство, от кого произошло это животное, которое горделиво называет себя человеком.

Гладышев посмотрел на Чонкина и грустно покачал головой. Тут гидра выплюнула к ногам селекционера полураздавленный кусок мыла.

— Вот из-за чего люди теряют свой облик,— указал Гладышев на предмет всех несчастий и брезгливо поддел его носком сапога. И пошел прочь, подталкивая объект своего презрения ногами, как бы в научной рассеянности. Но не прошел он и пяти шагов, как сбоку вывернулся какой-то мальчишка, подхватил на бегу этот жалкий кусок и, уклонившись от жесткой руки селекционера, кинулся наутек.

— Вот она, наша молодежь,— сообщил Гладышев, вернувшись к Чонкину,— наша смена и наша надежда. За что боролись, на то напоролись. На страну нападает коварный враг, люди гибнут за Родину, а этот шкет последний кусок мыла рвет у старого человека.

Гладышев тяжело вздохнул и надвинул шляпу на лоб, напрасно ожидая от судьбы очередного подарка.

10

После минутной растерянности Килин и Голубев вступили в неравный бой с несознательной толпой. Посоветовав парторгу зайти с другой стороны, председатель очерта голову ринулся в свалку и через некоторое время выволоч наружу Николая Курзова

36

в изорванной рубаше с прилипшим к плечу ошмтком мыла и головой, убитой зубным порошком.

— Стой здесь! — приказал ему Иван Тимофеевич и нырнул опять в кучу, но, добравшись до самого дна, нашел там все того же Курзова уже не только в изорванной рубаше, но с расквашенным носом и четким отпечатком чьего-то сапога на правой щеке.

Несмотря на обычную мягкость характера, Голубев рассвирепел. Вынырнув с Курзовым на поверхность, он подвел его к Чонкину и попросил:

— Ваня, будь друг, посторожи. Если что, сразу стреляй, я отвечаю.

Председатель в третий раз кинулся к гидре, и она его поглотила.

Курзов, поставленный под охрану, сразу же успокоился, никуда больше не рвался, стоял, тяжело дыша и трогая пальцем распухший нос.

А Чонкин искал глазами Ньюру, которая была где-то там, в этой свалке, и нервничал, боясь, что ее задавят. И когда перед ним мелькнуло знакомое платье, Чонкин не выдержал.

— На, поддержи.— Он сунул винтовку Курзову и подбежал к свалке, надеясь, что ему удастся схватить и вытащить Ньюру. Тут кто-то сильно толкнул его в бок. Чонкин пошатнулся и оторвал от земли одну ногу, пытаясь восстановить равновесие, но его дернули за другую ногу, и он повалился в общую кучу. Его закрутило, как щепку в водовороте. То он оказывался в самом низу, то выплывал наверх, то опять попадал в середину между телами, пахнущими потом и керосином. И кто-то хватал его за горло, кто-то кусал и царапал, и он тоже кусал и царапал кого-то.

Когда он очутился на самом дне и его проволокли затылком по земле и рот засыпали пылью, а глаза зубным порошком и он, кашляя, чихая, отплевываясь, рванул обратно, в этот самый момент лицо его утонуло в чем-то мягком, теплом, родном.

— Никак Ньюрка! — всхлипнул он сдавленно.

— Ваня! — обрадовалась Ньюра, отпихиваясь от кого-то ногами.

Говорить оба были не в состоянии и лежали, уткнувшись друг в друга на дне бушевавшей стихии, пока кто-то не заехал Чонкину каблуком в подбородок. Он понял, что пора выбираться, и попятился назад, подтаскивая Ньюру за ноги.

11

— Ну вот,— сказал парторг Килин, держа в руках мешок с остатками ширпотреба.— Теперича дело другое. Теперича вы обратно сберетесь, и митинг мы все же закончим. А кто думает не так, тот из этого мешка ничего не получит. Пойдем, Иван Тимофеевич.

Килин перекинул сильно полегчавший мешок через плечо и двинулся первым.

На месте бывшего побоища, сидя в пыли, плакала баба Дуня. Она плакала, обхватив голову черными, кривыми от подагры ладонями. Чуть в стороне лежала растерзанная картонная коробка и отдельно от нее кукла Таня № 5 без шляпы и с надорванной головой. Плечевой взял старуху под локотки, помог подняться.

— Пойдем, бабка,— сказал он.— Нечего плакать, пойдем похлопаем.

12

Не успели сбиться на прежнем месте, за околлицей возник столб пыли и стал быстро передвигаться к конторе. Народ шархнулся. Столб покружился возле конторы и опал. Из пыли возникла «эмка». Народ удивился, начальство забеспокоилось. Раз

«эмка», то не иначе как кто-то из области. В районе даже первый секретарь товарищ Ревкин передвигается исключительно на «козле».

Из «эмки» высыпали какие-то люди с блокнотами и фотоаппаратами. Один подбежал к задней дверце, распахнул ее. Из дверцы выдвинулся сначала огромный зад, обтянутый синим, а затем показалась и вся обладательница зада, крупная женщина в бостоновом костюме, белой блузке и с орденом на левой груди.

— Люшка, Люшка,— сухим листом зашелестело в толпе.

— Здорово, землячки! — громко сказала приезжая и сквозь почтительно расступившуюся публику направилась к крыльцу. По дороге отдельно кивнула Плечевому, который смотрел на нее иронически: — Здравствуй, брат!

— Здорово, коли не шутишь,— ответил Плечевой.

Тут женщина заметила хилого мужичонку Егора Мякишева, жавшегося в толпе.

— Егор! — Она метнулась в толпу и вытащила Егора на середину.— Что ж ты супругу свою любимую не встречаешь? Аль не рад?

— Да ну,— смутившись, пробормотал Мякишев и потупился.

— А ты не нукай,— сказала Люшка.— Целуй жену, давно не виделась. Только губы сперва оботри, а то опять, я вижу, яйца сырые лопал.— Она наклонилась к Мякишеву и подставила ему сперва одну щеку, потом другую. Мякишев обтер губы грязным рукавом и приложился куда было указано. Люшка поморщилась.

— Табачищем несет, не дай бог. Ну ничего, табачный дух мужеский заменяет. А уж я-то по тебе как скучала, передать не могу. Как-то там, думаю, супруг мой законный поживает. Не скучно ли ему одному в холодной постеле? А может, кого уже приволок, а? Мякишев, оробев, смотрел на жену, не мигая.

— Да на кой ему кого-то волочь,— громко сказал Плечевой.— Когда он с лошадем живет на конюшне.

В толпе кто-то хмыкнул, остальные притихли. Приехавшие с блокнотами переглянулись между собой. Люшка остановилась и уставила на Плечевого тяжелый взгляд.

— Все озоруеть, брат? — спросила она со скрытой угрозой.

— Озорую,— охотно согласился Плечевой.

— Ну-ну,— сказала Люшка.— Гляди, доозоруеться.

И, медленно поднявшись по ступеням крыльца, скрылась за распахнутой Килиным дверью.

В кабинете от приехавших гостей стало тесно. Люшка сразу уселась за председательский стол, Килин примостился сбоку, корреспонденты расселись вдоль стен, Голубев встал у сейфа, прижав плечом дверцу.

— Ну что, начальники? — бодрым голосом спросила Люшка.— Как живете?

— Да как живем,— развел руками парторг.— По-простому живем, по-деревенски. С народом вот понемножку воюем.

— А в чем дело? — поинтересовалась Люшка.

— Да так,— уклонился Килин.— Ты про себя расскажи. Все ведь в столице время проводишь. Небось со Сталиным каждый день чай распиваешь?

— Ну каждый не каждый, а бывает, встречаемся.

— Ну и какой он из себя? — живо спросил Голубев.

— Как тебе сказать,— задумалась Люшка.— Очень простой человек,— сказала она, покосившись на корреспондентов,— и очень скромный. Как прием в Кремле, так обязательно к себе позовет, поздоровается за ручку. «Здравствуйте, Люша. Как живете? Как здоровье?» Очень отзывчивый человек.

— Отзывчивый? — живо переспросил председатель.— Ну, а как он вообще выглядит?

— Хорошо выглядит,— сказала Люшка и вдруг заплакала.— Трудно ему сейчас. Один за всех нас думает.

13

Люшка родилась и выросла в бедной крестьянской семье. Летом батрачила, зиму проводила безвылазно на печи, не имея ни валенок, ни штанов. До коллективизации она не могла стать знаменитой дояркой, поскольку полудохлая коровенка, бывшая в хозяйстве, рекордных надоев не давала. Когда же коровенка в результате скудного питания стала и вовсе дохлой, от нее прекратилась всякая польза. К тому же печальному результату могла подойти и Люшкина жизнь, но тут подоспели благостные перемены. В колхоз Люшка записалась одной из первых. Потом дали ей бывших кулацких коров. Правда, тех надоев, что раньше, коровы уже не давали, но по инерции продолжали доиться обильно. Постепенно Люшка становилась на ноги. Приобулась, приделась, вышла замуж за Егора, вступила в партию. Вскоре повсюду стали выдвигать передовиков и ударников, и Люшка по всем данным вполне подошла под эту категорию. В местной и центральной печати появились первые заметки о Люшкиных достижениях. Но настоящий взлет ее начался, когда какой-то корреспондент с ее слов (а может, и сам выдумал) тиснул в газете сенсационное сообщение, что Люшка порывает с дедовским методом доения коров и отныне берется дергать коров за четыре соска одновременно — по два в каждую руку. Тут-то все и началось. Выступая в Кремле на съезде колхозников, Люшка заверила собравшихся и лично товарища Сталина, что с отсталой прежней технологией покончено отныне и навсегда. А на реплику товарища Сталина «Кадры! Кадры!» обязалась обучить своему методу всех доярок своего колхоза. «А получится ли у всех?» — лукаво спросил товарищ Сталин. «Да ведь у каждой доярки, товарищ Сталин, по две руки», — бойко сказала Люшка и выставила вперед собственные ладони. «Правильно», — улыбнулся товарищ Сталин и кивнул головой. С тех пор уже и вовсе не видели Люшку в родном колхозе. То она заседает в Верховном Совете, то присутствует на совещании, то принимает английских докеров, то беседует с писателем Лионом Фейхтвангером, то получает орден в Кремле. Пришла к Люшке большая слава. Газеты пишут про Люшку. Радио говорит про Люшку. Кинохроникеры снимают фильмы про Люшку. Журнал «Огонек» на обложке печатает Люшкин портрет. Красноармейцы пишут, хотят жениться.

Со всем заматалась Люшка. Прискачет на день-другой в родную деревню, подергает корову за соски перед фотоаппаратом и дальше. Сессия в сельхозакадемии, встреча с писателями, выступление перед ветеранами революции... И от журналистов никакого спасенья. Куда Люшка, туда и они. Для них сама Люшка стала уже не хуже дойной коровы. Строчат про нее статьи, очерки, песни слагают. Да и сама она, совсем ошалев, поверила уже, что эти все журналисты только для того и созданы, чтобы готовить ей доклады, описывать ее жизнь и фотографировать.

Возникло и ширилось так называемое мякишевское движение. Мякишевки (появилось такое название) брали обязательства, заполнили верховные органы, делились опытом через газеты и красовались на киноэкранах. Коров доить совсем стало некому.

14

— Ну что с вами делать! — с досадой обратился к народу парторг.— Вот вы собрались и стоите. И ду-

37

маете, что организованно стоите. А я отселя, сверху, что-то никакой организованности не замечаю. Я замечаю только, что каждый норовит стать взад, чтобы потом первым бечь к магазину. И вам никому не стыдно. Хоть бы землячку свою постеснялись. Ведь она у нас легендарная. Лично с товарищем Сталиным неоднократно встречалась. А с ней корреспонденты. Они ведь могут про все написать. Я вас, товарищ корреспондент,— обратился он к одному из приехавших,— лично прошу, пропишите и пропечатайте на весь Советский Союз. Пропишите, что в нашем колхозе народ несознательный. Везде сознательный, а здесь нет. Пускай станет им стыдно. Разберлись, растянулись, как стадо, честное слово. А ну-ка давайте все в кучу да потеснее. И ежели вы не умеете сами по себе стоять, как положено, то я вам скажу так: мужики все возьмитесь за руки, а бабы в серединку. Вот и стойте. Хотя так тоже плохо. А хлопать кто будет? Под руки беритесь. Теперь дело другое.

Наведя таким образом порядок, Килин предоставил слово Люшке. Люшка вышла вперед, помолчала немного и начала тихо и по-домашнему.

— Бабы и мужики! — сказала она.— Тяжелое горе обрушилось на нас с вами. Коварный враг напал на нашу страну без объявления войны. А ведь еще недавно притворялись друзьями. Будучи в Москве два года назад, мне довелось видеть ихнего Риббентропа. Правду скажу, не произвел он на меня впечатления. Мужичонка невидный, ну навроде нашего, допустим...— она поискала глазами, с кем бы сравнить, хотя сравнение заготовила загодя...— да навроде Степки Фролова, ну, конечно, побашковитей. Улыбается, все на своем шпрехен зи дейч тосты провозглашает, однако и тогда еще мне Климент Ефремович Ворошилов сказал на ухо: «Ты, Люша, не смотри, что он такой приветливый, на самом деле камень за пазухой ох какой держит». И теперь часто вспоминаю я слова Климента Ефремовича и думаю, да, действительно, камень, бульжник держали эти господа за пазухой. Бабы и мужики! Теперь, когда случилось такое несчастье, нам больше и делать ничего не остается, как сплотиться вокруг нашей родной партии, вокруг лично товарища Сталина. Вот буду в Москве, увижу его, родного, разрешите сказать от вашего имени, что все труженики нашего хозяйства все свои силы отдадут... да не лезь ты в глаза со своим аппаратом,— неожиданно, и ко всеобщему удовольствию, повернулась она к корреспонденту, снимавшему ее, вися на перилах,— сбоку сымай. Все силы отдадут делу повышения урожайности. Все для фронта, все для победы! — Она помолчала, помедлила, собираясь с мыслями. И тихо продолжила:— К вам, бабы, обращение особое. Не сегодня завтра мужики наши, наши отцы, наши мужья, наши братья уйдут защищать свободу. Война есть война, может, и не каждому удастся вернуться. Но пока они будут там, мы здесь одни останемся. Трудно придется. И робята малые, и в избе надо прибрать, и стоготвить, и постирать, и за своим огородом приглядеть, и о колхозном деле не забывать. Хотим мы того или нет, а теперича каждой за двоих, за троих придется работать. И за себя, и за мужиков. И мы это должны выдюжить и выдюжим. Мужики! Идите на фронт, выполняйте свой мужеский долг, защищайте нашу Родину от супостатов до последнего. А насчет нас не беспокойтесь. Мы вас заметим...

Люшка говорила просто, доходчиво, и стоявшие внизу то плакали, то улыбались сквозь слезы. Да и сама Люшка несколько раз приложила платочек к глазам. А потом вместе со всеми своими корреспондентами села в «эмку» и, подняв пыль столбом, укатила в свои высокие сферы.

После митинга, как было обещано, поделили соль,

спички и мыло. Своя доля досталась и Нюре: полку-ска мыла, кулек соли да спичек два коробка. Домой она вернулась — уже вечерело. Чонкин сидел у окна и при помощи шила и суровой нитки (дратвы не было) пытался привести в порядок ботинки.

— Вот.— Нюра выложила на стол свою добычу.— Дали.

Чонкин глянул без интереса.

— Может, завтра все же приедут,— сказал он со вздохом.

— Кто? — спросила Нюра.

— Кто, кто,— рассердился Чонкин.— Война идет, а я тут...

Нюра ничего не сказала. Достала из печки гороховый суп, донесла до стола и расплакалась.

— Ты чего? — удивился Чонкин.

— Что ж это ты так на войну-то рвешься? — сквозь слезы сказала Нюра.— Да неужто ж тебе там будет лучше, чем у меня?

15

Гладышеву не спалось. Он тарачил во тьму глаза, вздыхал, охал и ловил на себе клопов. Но не клопы ему спать мешали, а мысли. Они вертелись вокруг одного. Своим глупым вопросом на митинге Чонкин смутил его душу, пошатнул его, казалось бы, незыблемую веру в науку и научные авторитеты. «Почему лошадь не становится человеком?» А в самом деле, почему?

Прижатый Афродитой к стене, он лежал, думал. Действительно, каждая лошадь работает много, побольше любой обезьяны. На ней ездят верхом, на ней пашут, возят всевозможные грузы. Лошадь работает летом и зимой по многу часов, не зная ни выходовных, ни отпусков. Животное, конечно, не самое глупое, но все же ни одна из всех лошадей, которых знал Гладышев, не стала еще человеком. Не находя сколько-нибудь удобного объяснения такой загадке природы, Гладышев шумно вздохнул.

— Ты не спишь? — громким шепотом спросила Афродита.

— Сплю,— сердито ответил Гладышев и отвернулся к стене.

Только стал одолевать его сон, как проснулся и заплакал Геракл.

— Ш-ш-ш-шшш-шш,— зашикала на него Афродита и, не вставая, стала качать с грохотом люльку. Геракл не унимался. Афродита спустила ноги с кровати, вынула Геракла из люльки и дала ему грудь. Ребенок успокоился и зачмокал губами. Кормя его, Афродита одной рукой возилась в люльке, должно быть, меняя пеленки. Но когда она опять положила его в люльку, Геракл снова заплакал. Афродита трясла люльку и напевала:

**Баю-баюшки-баю
Спи, Геруша, на краю...**

Дальше слов она не знала и до бесконечности повторяла одно и то же:

**Баю-баюшки-баю
Спи, Геруша, на краю...**

Наконец ребенок уснул. Затихла Афродита, стал засыпать и хозяин дома. Но только он закрыл глаза, как совершенно явственно услышал, что открылась наружная дверь. Гладышев удивился. Неужто он, ложась спать, не запер ее? А если даже и так, то кто бы это мог в столь поздний час, видя, что в окнах нет света, беспокоить людей? Гладышев насторожился.



Может, померещилось? Нет. Кто-то прошел через сени, теперь впотьмах шарил по коридору. Шаги приближались, и вот уже со скрипом растворилась и дверь в комнату. Гладышев приподнялся на локте, напряженно вглядываясь в темноту, и, к своему великому удивлению, узнал в вошедшем мерина по кличке Осоавиахим. Гладышев потряс головой, чтобы прийти в себя и убедиться, что все это ему не чудится, но все было действительно так, и Осоавиахим, который был хорошо знаком Гладышеву, ибо именно на нем Кузьма Матвеевич обычно возил на склад продукты, собственной персоной стоял посреди комнаты и шумно дышал.

— Здравствуй, Кузьма Матвеевич,— неожиданно сказал он человеческим голосом.

— Здравствуй, здравствуй,— сознавая странность происходящего, сдержанно ответил Гладышев.

— Вот пришел к тебе, Кузьма Матвеевич, сообщить, что теперь стал я уже человеком и продукты более возить не буду.

Мерин почему-то вздохнул и, переступая с ноги на ногу, стукнул копытом в пол.

— Тише, тише,— зашикал Гладышев,— робенка разбудишь.— Пододвинув слегка Афродиту, он сел на кровати и, чувствуя необыкновенную радость от того, что ему, может быть, первому из людей, пришлось стать свидетелем такого замечательного феномена, нетерпеливо спросил:

— Как же тебе удалось-то стать человеком, Ося?

— Да оно вишь как получилось,— задумчиво сказал Осоавиахим,— я в последнее время много работал. Сам знаешь, и продукты возил со склада, и навозом не брезговал, и пахать приходилось — ни от чего не отказывался, и вот в результате кропотливого труда превратился я наконец в человека.

— Интересно,— сказал Гладышев,— это очень интересно, только на ком я теперь будут продукты возить?

— Ну уж это дело твое, Кузьма Матвеевич,— покачал головой мерин,— придется подыскать замену. Возьми хотя б Тюльпана, он еще человеком не скоро станет.

— Почему ж так? — удивился Гладышев.

— Ленивый потому что, все норовит из-под палки. Пока его не ударишь, с места не стронется. А чтоб человеком стать, надо бегать, знаешь, как? Ого-ого! — он вдруг заржал, но тут же спохватился.— Извини, Кузьма Матвеевич, дают еще себя знать лошадиные пережитки.

— Ничего, бывает,— простил Кузьма Матвеевич.— Ну, а интересно мне знать, что ты теперь предполагаешь делать? В колхозе останешься или как?

— Наверяд,— вздохнул Осоавиахим.— Мне тут теперь с моим талантом делать нечего. Подамся, пожалуй, в Москву, профессорам покажусь. Может, с лекциями буду выступать. Эх, Кузьма Матвеевич, жизнь для меня теперь только лишь начинается, женился бы, детишек нарожал для дальнейшего прогресса науки, а вот не могу.

— Почему же?

— Еще спрашиваешь,— горько усмехнулся Осоавиахим.— Ты же сам восемь лет назад мне чего сделал? Лишил необходимых для продолжения рода частей организма.

Неудобно стало Гладышеву. Он смутился и даже как будто бы покраснел, хорошо, что темно и не видно.

— Извини, друг Ося,— сказал он искренне.— Если б же ж я знал, что ты человеком станешь, да нешто я бы позволил. Я-то думал, конь он и есть конь. А кабы ж я знал...

— Кабы знал,— передразнил Осоавиахим.— А конь-то что? Разве ж не живое существо? Разве

ж у него можно отнимать последнюю радость? Мы ж в кино не ходим, книжек не читаем, только одно и остается, а ты ножом...

Насторожился Гладышев. Что-то не то говорит этот Осоавиахим. Еще не успел человеком стать, а уже критикует. Достижение, конечно, значительное с биологической точки зрения, но если придать этому делу политическую окраску, то превратится лошадь в человека еще полдела. Главное, в какого человека — нашего или не нашего? И, проявив должную бдительность, задал Гладышев мерину вопрос, что называется «на засыпку»:

— А вот ты мне скажи, Ося, ежели тебя, к примеру, на фронт возьмут, ты за кого воевать будешь — за наших или за немцев?

Посмотрел на него мерин с сочувствием, помотал головой, глупый, мол, человек.

— Мне, Кузьма Матвеевич, на фронт идтить никак невозможно.

— Почему же это тебе невозможно? — вкрадчиво спросил Гладышев.

— А потому,— рассердился мерин,— что мне на спусковой крючок нажимать нечем. У меня пальцев нет.

— Вот оно что! — хлопнул себя по лбу Гладышев и проснулся.

Открыл глаза, никак не может понять, куда же девался мерин. Обстановка в комнате прежняя, и он, Гладышев, лежит в своей кровати на пуховой перине, придавленный Афродитой к самой стене. Навалилась она на него всей своей тяжестью, причмокивает, посвистывает во сне, да с таким аппетитом, что даже противно. Жарко, душно. Гладышев двинул жену плечом — не сдвинул. Двинул второй раз — с тем же успехом. Рассердился, уперся в стену руками и ногами и как толкнул Афродиту задом, так она чуть с кровати не свалилась, вскочила.

— А? Что? — ничего не может понять.

— Слышь, Афродита? — шепотом спросил Гладышев,— а куды мерин-то подевался?

— Какой мерин? — Афродита трясла головой, пытаясь прийти в себя.

— Да мерин же, Осоавиахим,— досадовал Гладышев на непонятливость супруги.

— О, господи! — пробормотала Афродита.— Болтает бог знает что. Мерина какого-то надумал. Спи себе.

Она перевернулась на живот, уткнулась в подушку и тут же уснула снова.

Гладышев лежал, тараща глаза в потолок. Сознание постепенно возвращалось к нему, и наконец он понял, что мерин приходил к нему во сне. Гладышев был грамотным человеком. Он читал книгу «Сон и сновидения», которая помогла ему дать его сегодняшнему сну правильную оценку. «Вчера наслушался от Чонкина глупостей, вот и приснилось», — думал он про себя. Но какая-то странная мысль, не выражавшаяся словами, сверлила его и мучила, он никак не мог понять, что это значит. Заснуть больше не мог. Лежал, ворочался, а как только за окном сдва забрезжило, перелез через Афродиту и задумчиво стал натягивать на себя кавалерийские галифе.

В это утро Нюра проснулась раньше Ивана, еще затемно. Поворочалась, поворочалась, делать нечего, решила вставать. Корову доить было рано, надумала до свету сходить на речку за водой. Взяла в сенях ведра и коромысло, открыла дверь и обмерла — на крыльце кто-то сидит.

— Кто это? — спросила она с испугом и дверь на всякий случай притянула к себе.

— Не бойся, Анна, это я, Гладышев.

Нюра удивилась, приоткрыла дверь снова.

— Чего это ты сидишь тут?
— Да так,— неопределенно ответил Гладышев.— Твой еще не проснулся?
— Куды там,— засмеялась Нюра,— спит, как сурок. А чего?
— Дело есть.— Гладышев уклонился от прямого ответа.

— Может, разбудить? — Нюра уважала соседа, как ученого человека, и считала, что он по зряшному делу беспокоить не станет.

— Да нет, не стоит.

— А чего ж не стоит? Я разбужу. Пушай встает. А то как ночь, так на войну рвется, а как утро, так не добудишься.

Гладышев особо не возражал, потому что соображение, которое хотел он сообщить своему другу, хотя и не носило важного характера, однако было таким, которое трудно держать при себе.

Через минуту на крыльцо вышел Чонкин в кальсонах.

— Звал, что ли? — спросил он, почесываясь и зевая.

Гладышев медлил. Он подождал, пока Нюра возьмет ведра и отойдет на приличное расстояние, и только после этого, смущаясь, что поднял человека из-за такой малости, неуверенно заговорил:

— Вот ты вчера насчет лошади спрашивал.

— Насчет какой лошади? — не понял Иван.

— Ну вообще, почему, мол, она человеком не стала.

— А-а,— Иван вспомнил, что в самом деле вчера был какой-то такой разговор.

— Так вот,— с гордостью сообщил Гладышев.— Я понял, почему лошадь не становится человеком. Она не становится человеком, потому что у ней пальцев нет.

— Эка, удивил,— сказал Чонкин.— Это я с малых лет знаю, что у лошади нет пальцев.

— Да я тебе не о том. Я говорю не то, что у ней нет пальцев, а то, что она не становится человеком, потому что у нее нет пальцев.

— А я тебе говорю — это всем известно, что у лошади нет пальцев.

Тут они заспорили, как часто люди спорят между собой, доказывая один одно, а другой другое, не пытаясь понять собеседника, и чуть было даже не разругались, но на крыльцо своей избы вышла в нижнем белье Афродита и позвала мужа завтракать. Не доспорив, Кузьма Матвеевич пошел домой. На столе стояла шипящая еще только с жару яичница с салом. Гладышев придвинул к себе сковородку, сел на лавку и тут же почувствовал под задом что-то не то чтобы острое, но твердое и неровное. Он вскочил и обернулся. На лавке лежала лошадиная подкова.

— Что это? — строго спросил он, показывая подкову жене.

— А откуль мне знать? — она пожала плечами.— Вон у порога валялась. Я сперва хотела выбросить, а потом подумала, может, нужна...

Договорить ей не удалось. Гладышев схватил подкову, выскочил из-за стола и как был в расхристанной рубашке кинулся вон из дома.

Еще издали заметил он возле конюшни скопление народа, здесь в числе прочих были председатель Голубев, парторг Килин, оба бригадира и конюх Егор Мякишев.

— Что это тут происходит? — поинтересовался Гладышев.

— Лошадь убегла,— пояснил Мякишев.

— Какая лошадь? — похолодел в догадке Гладышев.

— Осоавиахим.— Конюх досадливо сплюнул.— Мы тут наместили, каких лошадей в армию сдавать и его

тоже, а он ночью сломал загородку и ушел. А может, цыгане украли.

— Может быть,— поспешил согласиться Гладышев.

Подполковник Опаликов стоял, разведя в стороны руки и ноги, в ожидании, пока инженер полка Кудлай и два старших техника наденут на него парашют. Опаликов хмурился. Через несколько минут ему предстоит поднять полк в воздух и направить в район Тирасполя согласно приказу. Маршрут выверен, вычерчен, инструктаж с летным составом проведен. Командиры эскадрилий доложили о готовности к взлету. Тирасполь так Тирасполь, думал Опаликов. Какая разница, где тебя собьют? А ведь собьют, никуда не денешься. Не нашим «ишакам» с «мессерами» тягаться. Ладно, говорил он самому себе, дело не в этом. Тридцать четыре года прожил, и хватит. Некогорым и столько не удается. Кое-что повидал. Но Надька, Надька... При мысли о жене настроение еще больше испортилось. «Я тебя буду ждать»,— сказала она. Как бы не так. Будет ждать в чужой постели. Сука! Другие бабы, когда услышали о войне, рыдали. А она хоть бы одну слезинку из себя выдавила. Небось даже рада. Муж на фронт, ей — полная свобода. Да у нее и раньше этой свободы хватало. Перетаскала на себя всех, кого только могла. Другой раз идешь по городку, и стыдно. Кажется, все на тебя пальцем указывают. Вот он идет. Командир полка. Взятся полком командовать, а со своей собственной женой не может управиться. В армии все на виду. Хуже, чем в деревне. Все всё про всех знают. И про тот случай, когда она с интендантом на складе вещевого снабжения, на старых шинелях... До чего опуститься! Ведь хотел ее тогда застрелить, пистолет из кобуры вынул... Рука не послушалась. Хотя, конечно, сам во всем виноват. Как говорит Кудлай, «бачилы очи, шо купувалы»... Видно, уж такая у нее натура. Ненасытная тварь. Ну и задерись она в доску, думал подполковник Опаликов, когда в мотоциклетной коляске подъехал Пахомов.

— Товарищ подполковник...— Пахомов, выскочив из коляски, кинул руку к виску.

— Ну что у тебя? — перебил Опаликов, приподняв ногу, чтобы Кудлаю было удобнее продеть и обернуть лямку парашюта.

— Погрузка аэродромного оборудования в эшелон закончена,— доложил Пахомов.— Дня через четыре, думаю, и мы до Тирасполя доберемся.

— Ну-ну,— сказал Опаликов и, подсаживаемый инженером, полез на крыло.— Так мы тебя там и будем дожидаться в Тирасполе.

Он сел в кабину, поерзал, устраиваясь поудобней. Положил планшет на колени, еще раз мысленно прошел первую часть маршрута. Взлет. Сбор в зоне ожидания. Затем курс двести пятьдесят семь и четыре градуса поправки на ветер. После прохождения контрольного пункта на двенадцать градусов поворот влево. Все нормально, все правильно, только вот Надька... Опаликов поднял голову.

Пахомов все еще стоял возле самолета, переминался с ноги на ногу.

— Ну что еще, Пахомов? — обратился на него внимание командир полка.

— Да вот не знаю, как с Чонкиным быть,— неуверенно сказал комбат.

— С каким еще Чонкиным? — недоуменно поднял брови Опаликов.

— С красноармейцем, который у аварийной машины.

— А-а.— Опаликов поставил ноги на педали, про-

верил легкость хода рулей и элеронов, включил темблер зажигания.— Его разве до сих пор не сменили?

— Да нет же,— сказал Пахомов.— И машина там.

— Это не машина,— махнул рукой Опаликов,— это гроб. А Чонкин этот что там делает?

— Стоит,— пожал плечами Пахомов.— Говорят, вроде даже женился.

Он улыбнулся, не зная, как выразить свое отношение к поступку бойца.

— Женился? — ахнул Опаликов. Это в мозгу его никак не укладывалось. Тут с женой, которая есть, не знаешь что делать.

— Ну, раз женился, пусть живет,— решил он.— Не до него. Кудлай! — закричал он инженеру.— Передай по полку, чтоб запускали моторы.

Судьба Чонкина была решена.

17

— Я щи поставлю варить, а ты поди пригони корову.— Сунув голову в печь, Нюра шумно раздувала огонь.

— Сейчас.— Чонкин драил зубным порошком пуговицы на гимнастерке, и идти ему никуда не хотелось.

— Русский час — шестьдесят минут,— заметила Нюра.— Пуговицы можно опосля почистить.

Она только что с полной сумкой притащилась из Долгова, разнесла почту, устала и теперь была недовольна тем, что Чонкин не приготовил обед.

Чонкин отложил в сторону гимнастерку и щетку, подошел к Нюре сзади и ухватился за нее сразу двумя руками.

— Иди, иди.— Нюра недовольно вильнула задом.

Некоторое время попрепирались. Чонкин ссылался на раннее время, на боль в пояснице, ничего ему не помогло — пришлось в конце концов уступить.

Во дворе он поиграл с Борькой, на улице поговорил с бабой Дуней, затем с сидевшим на завалинке дедом Шапкиным и наконец дошел до конторы, где увидел большую толпу, состоящую в основном из баб. Мужиков было всего-то Плечевой, счетовод Волков и еще один, Чонкину незнакомый. Другие — на фронте. В первую же неделю войны чуть не всех загребли подчистую. Собравшиеся молча смотрели на громкоговоритель, в котором что-то потрескивало.

— Чего стоите? — спросил Иван Нинку Курзову.

Но Нинка ничего не ответила, только приложила палец к губам. И тут же в динамике кто-то покашлял, и голос с заметным грузинским акцентом тихо сказал:

— Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!

Чонкин вздохнул и замер, не спуская с динамика глаз.

Динамик снова покашлял, потом в нем что-то забулькало, как будто тот, кто стоял где-то у микрофона, лил воду или давился в рыданиях. Это бульканье длилось долго и произвело на слушателей гнетущее впечатление. Но вот оно кончилось, и тот же голос с акцентом негромко и рассудительно продолжал:

— Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвер-

гая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность...

Баба Дуня, стоявшая позади Чонкина, всхлинула. Задергала губами Нинка Курзова, несколько дней назад отправившая мужа на фронт. Зашевелились, зашмыгали носами и остальные.

Чонкин слушал слова, произносимые с заметным грузинским акцентом, глубоко верил в них, но не все мог понять. Если лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации разбиты и нашли себе могилу, то стоит ли так беспокоиться? Худшие части и дивизии разбиты еще легче. Кроме того, непонятно было выражение «нашли себе могилу на полях сражений». Почему они не искали ее в другом месте? И кто эту могилу для них вырыл? И Чонкину представилось огромное количество людей, которые в поисках могилы ходят по неизвестным полям. Ему на какое-то мгновение даже стало жалко этих людей, хотя он хорошо знал, что жалеть их нельзя. Размышляя таким образом, пропустил он многое из того, что говорил оратор, и теперь поднял голову, чтобы уловить нить.

— Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу...

Все слушали, качали головами, и Чонкин тоже качал. Он готов был драться, но не знал, с кем и как. Когда забирали на фронт мужиков, военкоматский капитан сидел на крыльце конторы и разговаривал с председателем. Чонкин подошел к нему, обратился по всей форме, так, мол, и так, а тот не дослушал толком да как гаркнет: «Вы на посту стоите? А кто давал вам право покидать пост? Кругом! На пост бегом марш!» Вот и весь разговор. А Сталин, он бы так не сказал, он умный, может понять и войти в положение. Не зря народ его любит. И поет хорошо. «Валенки, валенки». Только почему женским голосом? Песня кончилась, раздалась аплодисменты.

— Вот здорово! — услышал Чонкин сзади. Он вздрогнул и обернулся. Тайка Горшкова, поигрывая бичом и раскрыв рот, смотрела на радио. Теперь она была пастухом после того, как Лешку Жарова забрали на фронт.

Чонкин осмотрелся и, не увидев больше никого, снова уставился на Тайку.

— Здорово, говорю, Русланова поет,— повторила Тайка.

— Ты что, коров уже пригнала? — удивился Чонкин.

— Давно уж. А чего?

— Да так, ничего.

Удивляясь тому, как это он прозевал момент, когда пригнали коров, Чонкин пошел к дому. Корова, конечно, пришла домой своим ходом. уж чего, чего, а дорогу знает. Но все же чудно так получилось, что он задумался и не заметил, как разошлись люди. Впрочем, они даже как будто и не разошлись, а вон все стоят в том же составе. Только почему-то в другом месте. Как будто возле избы Гладышева. Да, точно, так и есть.

— Чего стоите? — спросил Чонкин, опять же у Нинки Курзовой. Нинка обернулась и посмотрела на Чонкина как-то странно, так странно, как будто с ним что-то случилось. А вслед за Нинкой и все остальные стали воротить головы в сторону Чонкина и смотреть на него с ожиданием чего-то. Чонкин смешался, не понимая в чем дело, стал сам себя оглядывать, не вымазался ли. Тут из толпы вынырнул Плечевой и пошел на Чонкина с распростертыми объятиями:

— Ваня, друг, что же ты тут стоишь? — закричал

он.— Иди быстрее, чего покажу. Тут такое кино получается.— Он взял Чонкина за руку и повел сквозь толпу, которая охотно расступалась. Наконец, достигнув соседского забора, Чонкин посмотрел и глазам своим не поверил. Замечательный огород, созданный каждодневным трудом и гением Гладышева, являл собой картину страшного опустошения. Он был изрыт и истоптан с такой тщательностью, как будто через него прошло стадо слонов. Только кос-где торчали из земли истерзанные охвостья бывшего пукса и один-единственный, чудом сохранившийся куст пышно зеленел на фоне всеобщего разрушения.

Виновница всего происходящего корова Красавка, должно быть, оставила этот куст на закуску и сейчас, стоя посреди огорода, тянулась к нему и должна была б дотронуться, но хозяин огорода держал ее за рога, исполненный отчаяния, слепой злобы и решимости спасти хотя бы этот жалкий остаток созданного им чуда.

Словно тореадор, стоял Гладышев перед коровой, широко расставив ноги в пыльных брезентовых сапогах. Пытаясь побороть этого варвара, он напрягал окаменевшие мышцы.

Тут же, хватая Гладышева за рукав, безутешно рыдала Нюра.

— Матвейч,— заливалась она слезами,— отдай корову. Ну, пожалуйста. Ну что ты с ней будешь делать? — Зарежу! — мрачно сказал Гладышев.

— Ой, господи! — причитала Нюра.— Она ж у меня одна, Матвейч. Отдай!

— Зарежу! — твердил свое Гладышев и тащил корову в сарай. Корова упиралась и тянулась к оставшемуся кусту пукса. На крыльце, равнодушная ко всему, Афродита кормила грудью Геракла. Чонкин, не зная что делать, растерянно оглянулся.

— Ну что ж ты, Ваня, стоишь? — ободряюще улыбнулся ему Плечевой.— Спасай скотину. Ведь зарежет. Чиканет ножом, и привет.

Плечевой подмигнул стоявшему рядом счетоводу Волкову.

Не хотелось Чонкину ввязываться в это дело. Но Гладышев уперся, а Нюра плачет. Иван нехотя просунул голову между жердями в заборе.

— Ой! — взвизгнул тонкий женский голос. Это была Зинаида Волкова, жена счетовода.— Ой, бабы, сейчас будет убийство.

Увидев Чонкина, Нюра осмелела и перешла к активным действиям.

— Ирод проклятый! — закричала она и впцепилась своему врагу в красное правое ухо.

— Ах, так! — возмутился Гладышев и толкнул Нюру ногой в живот.

Нюра упала в борозду и завывала в голос.

Чонкин подошел к Нюре, наклонился и увидел, что ничего страшного не случилось, Нюра живая и даже не раненая.

— Чего реवेशь? — рассудительно сказал он, помогая Нюре подняться и отряхивая на ней платье.— Никто тебе ничего не сделал. Ну толкнул Кузьма Матвейч маленько, так его тоже можно понять. Любому было б обидно. Старался человек все лето, а тут звон какое дело. Уж ты, Кузьма Матвейч,— повернулся он к соседу,— извини за ради бога, у ней нет в голове соображения, что это твое, а это чужое, как увидит чего зеленое, так и жрет. Нюрка позавчера повесила на забор зеленую кофту, так она и ее слопала, один только левый рукав остался. Ух ты, вражина! — замахнул он кулаком на корову.— Пусты-ко, сосед, я ее сейчас так накажу, что больше в чужой огород не полезет.

С этими словами Чонкин положил руки поверх гладышевских на рога Красавки.

— Отойди,— сказал Гладышев и пихнул Чонкина плечом.

— Да нет уж, не отойду,— сказал Чонкин и толкнул соседа ответно.— Уж ты, Кузьма Матвейч, корову-то отдай, а мы с Нюркой тебе за огород чего ни то да заплатим.

— Дурак! — сказал Гладышев со слезами на глазах.— Чем можешь ты оплатить научный подвиг? Я же хотел вырастить гибрид мирового значения — картофель с помидором.

— Отдадим,— заверял Чонкин,— ей-богу, отдадим. И картошку, и помидоры. Какая тебе разница, вместе оно выросло или не вместе?

Он продолжал теснить упрямого соседа плечом и уже полностью овладел одним рогом. Теперь они тащили корову в разные стороны, что сй было легче перенести в результате равнодействия сил.

Надвигалась решающая минута. Чонкин пихал Гладышева левым плечом, Гладышев отвечал ему правым.

Толпа, налегая на забор, затаила дыханис. Афродита, переменив грудь, продолжала кормить Геракла. Было тихо. Только слышалось тяжелое сопение воюющих сторон и равнодушные вздохи коровы, которой по-прежнему хотелось откусить этот симпатичный куст неразвившегося гибрида.

В толпе молчали, напряженно ожидая дальнейшего развития событий.

— Слышь, армеец, а ты ему в глаз,— неожиданно громко посоветовал Плечевой.

Кто-то хихикнул, но тут же смолк.

— Ой, бабы, закрывай глаза, сейчас будет убийство! — пронзительно закричала Зинаида Волкова.

Ее муж, стоявший неподалеку, начал сквозь толпу пробираться к жене.

— Будет убийство, будет убийство, будет убийство,— лихорадочно, словно твердя заклинания, бормотала она.

Наконец счетовод добрался до жены, отодвинул, освобождая себе пространство, Нинку Курзову, не торопясь, обстоятельно размахнулся и единственной своей рукой врезал Зинаиде такую оплеуху, что без посторонней поддержки она вряд ли удержалась бы на ногах. Зинаида, молча схватившись обеими руками за щеку, стала вылезать из толпы, а счетовод, повернувшись к Плечевому, спокойно объяснил свой поступок:

— Сколько раз говорил сй: «Не лезь, куды не просют». Вот ведь когда Колька Курзов с клюквинским Степкой подрались, тоже так смотрела да ахала, а ее в свидетели записали. Так судья когда вызвал ее к столу, она сразу в обморок, и насилушки откачали.

— А ты ее совсем пришиби,— вссело посоветовал Плечевой.— Чтоб и в суд звать некого было.

— Убили! — выбравшись наконец из толпы, не своим голосом завопила Зинаида и, по-прежнему двумя руками держась за щеку, рванула вдоль по деревне.

Обернувшись на ее крик, Чонкин и Гладышев одновременно ослабили пальцы. Корова это почувствовала, мотнула головой, и противники, не ожидавшие такого коварства, повалились в разные стороны.

Не дожидаясь другого случая, корова мимолетным движением смахнула под самый корень последний куст необыкновенного гибрида и не спеша задвигала челюстями.

Гладышев, поднявшись на четвереньки, как заворонженный, следил за коровой.

— Матушка! — страстно простер он к ней руки и на коленях пошел вперед.— Солнышко, отдай, пожалуйста!

Причмокивая, вздыхая и настороженно глядя на Гладышева, корова отступила назад.

— Отдай! — Гладышев, не вставая с колен, тянулся к коровьей морде. В какой-то момент из раскрывшейся пасти мелькнул на мгновение измочаленный хвостик пукса, Гладышев рванулся к нему, но корова в этот же самый момент сделала глубокое глотательное движение и последний куст замечательного гибрида навсегда исчез в ее бездонном желудке. Поборов секундное оцепенение, Гладышев вскочил на ноги и с диким воем кинулся к себе в избу.

Тут поднялся с земли и Чонкин. Ни на кого не глядя, отряхнул он от пыли брюки, одной рукой взялся за рог, а другую сжал в кулак и изо всей силы ударил корову по морде. Корова дернула головой, но особо не сопротивлялась, и Чонкин потащил ее в сарай, крикнув Нюре, чтобы побежала вперед открыть ворота.

— И это все,— с сожалением сказал Плечевой, но ошибся.

— В это время на крыльцо встрепанный, с безумными глазами выскочил Гладышев. В руках он держал берданку шестнадцатого калибра. В толпе ахнули.

— Я говорила, будет убийство,— послышался голос вернувшейся вовремя Зинаиды.

Гладышев вскинул берданку к плечу и навел на Чонкина.

— Ваня! — отчаянно вскрикнула Нюра.

Чонкин обернулся. Он стоял, вцепившись пальцами в коровьи рога, и смотрел прямо в наведенный на него ствол берданки. Он словно оцепенел, не в силах двинуться с места. «Попить бы»,— мелькнула глупая мысль. Чонкин облизнул губы.

Сухо щелкнул курок, словно сломали ветку. «Все»,— подумал Чонкин. Но почему ему не больно? Почему он не падает? Почему Гладышев снова взводит курок? Снова щелчок. И вдруг раздался громкий, трезвый и рассудительный голос Афродиты:

— Дурачок ты, дурачок! Куды стреляешь? И чем стреляешь? Ты же весь порох давно извел на удобрение.

По толпе прошел шум. Гладышев еще раз взвел курок, заглянул в ствол и, убедившись, что там пусто, грохнул ружье о землю, сел на крыльцо и, обхватив голову руками, горько заплакал.

Чонкин все еще стоял, вцепившись пальцами в рога, словно приклеился. Подошла Нюра, положила руку ему на плечо.

— Пойдем, Ваня,— сказала она ласково.

Он отрешенно смотрел на Нюру, не понимая, чего она хочет.

— Домой, говорю, пойдем! — крикнула Нюра словно глухому.

— А, домой. — Он помотал головой, возвращаясь к сознанию происходящего. Они взялись, он — за один рог, Нюра — за другой, и потащили прочь корову, которая, насытаясь, вполне присмирела.

А на крыльце плакал Гладышев. Он плакал громко, в голос и, оголив покрытый белесой шерстью живот, утирался подолом изодранной майки.

Чонкин не выдержал и, бросив корову и Нюру, вернулся к поверженному врагу.

— Слышь, что ли, сосед,— сказал он, дотронувшись носком своего ботинка до сапога Гладышева.— Ты это... ничего, ты больно не переживай. Я, это, война кончится, на тот год билизуюсь и тогда пухом этим и твой огород засодим, и Нюркин.

В знак примирения он дотронулся до плеча Гладышева. Гладышев дернулся, зарычал, схватил протянутую руку и хотел укусить, но Чонкин вовремя вырвался и отскочил. Стоя в отдалении, он смотрел на селекционера с опаской и жалостью, не зная, как дальше быть.

Подошла и накинулась на Чонкина Нюра:

— Ах ты, горе луковое, да кого ж ты уговариваешь

и кого жалеешь? Он тебя жалел, когда из ружья целил? Он тебя убить хотел!

— Ну так что ж, что хотел,— сказал Чонкин.— Вишь, человек в расстройстве каком. Ты уж, Матвей, не это самое... — он переступал с ноги на ногу, но приблизиться не решился.

18

В воскресенье на колхозном рынке города Долгова был задержан пожилой человек, торговавший хромовыми голенищами. Дело было не только в том, что он торговал голенищами, и уж совсем не в том, что хромовыми. Дело в том, что на вопрос, как его фамилия, человек этот сказал такое, что Климу Свинцов, отправленному на рынок для выяснения злостных распространителей ложных слухов, ничего не оставалось делать, как взять старого наглеца за то место, которое в народе обыкновенно называется шкиркой, и отвести Куда Надо. Тем более, что именно там, Где Надо, Свинцов как раз и состоял на службе, он был сержантом. У читателей из далеких галактик, которым не знакомы наши земные порядки, может возникнуть законный вопрос: что значит Куда Надо или Где Надо? Кому надо и для чего? По этому поводу автор дает следующее разъяснение. В давние, описываемые автором времена повсеместно существовало некое Учреждение, которое было не столько военным, сколько воинственным. На протяжении ряда лет оно вело истребительную войну против собственных сограждан, и вело с непрекращающимся успехом. Противник был многочислен, но безоружен — эти два постоянно действующих фактора делали победу внушительной и неизбежной. Карающий меч Учреждения висел постоянно над каждым, готовый обрушиться в случае надобности или просто ни с того ни с сего. У этого Учреждения создалась такая репутация, что оно все видит, все слышит, все знает, и если чего не так, оно уже тут как тут. Оттого и говорили в народе: будешь слишком умным, попадешь Куда Надо, будешь много болтать, попадешь Куда Надо. И такое положение вещей считалось вполне нормальным, хотя, собственно говоря, отчего ж человеку не быть слишком умным, если он таким уродился? И отчего человеку не поболтать, если есть с кем и о чем? Автор лично встречал на своем жизненном пути массу людей, как бы созданных природой исключительно для болтовни. Впрочем, болтовня тоже бывает разная. Один болтает что надо, другой — что не надо. Будешь болтать что надо, будешь иметь все, что надо, и даже немножко больше. Будешь болтать что не надо, попадешь Куда Надо, то есть в то самое Учреждение, о котором выше уже говорилось. А ниже добавим еще и то, что Учреждение это работало по принципу: бей своих, чтоб чужие боялись. Насчет чужих не скажу, а свои обозначится обострение противоречий или кризис всей их системы, или всеобщее загнивание, так своих тут же отлавливают и тащат Куда Надо. И другой раз столько их натаскивают, что там, Где Надо, и мест для всех не хватает.

Но в то самое время, когда сержант Климу Свинцов поймал на рынке злостного болтуна, мест там, Где Надо, было вполне достаточно. Последние четверо, попавшие каждый своим путем Куда Надо еще до войны, теперь были отправлены дальше. Учреждение срочно перестраивало свою работу, приспособивало ее к нуждам военного времени. Этого требовал от своих сотрудников начальник Учреждения капитан Афанасий Миляга, получивший инструкцию от более высокого начальства, которое, в свою очередь, имело указание от начальства высочайшего. Указание было — руководствоваться историческим выступле-

нием товарища Сталина. В историческом выступлении, помимо прочего, говорилось: «Мы должны организовать беспощадную борьбу со всеми дезорганизаторами тыла, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем быстрое содействие нашим истребительным батальонам».

Эта цитата в виде красочно оформленного плаката висела в кабинете капитана Миляги, прямо перед глазами. А за спиной капитана Миляги висел известный фотопортрет — Сталин с девочкой на руках. Девочка улыбалась Сталину, Сталин улыбался девочке. Но при этом он косил одним глазом на затылок капитана Миляги, как бы пытаясь определить, не роятся ли под этим затылком ненужные мысли.

В понедельник утром капитан явился на работу, как всегда — минута в минуту.

— Точность — вежливость королей, — говорил он обычно своим подчиненным и не забывал добавлять: — В переносном, конечно, смысле.

Чтобы никто не заподозрил его в монархических настроениях.

В своей приемной капитан застал сержанта Свинцова, который объяснял секретарше Капе свое положение. Жена Свинцова уехала с ребятишками к матери на Алтай, откуда вернется не скоро — он сам написал ей, чтобы не приезжала, все же там безопасней. Рассказывал он для того, чтобы перейти к следующей части беседы.

— Капитолина, — призывно говорил он и смотрел на секретаршу зверскими своими глазами. — Мужчина без женщины все равно что бык без коровы. — Сравнениями он пользовался всегда прямыми и грубыми. — Мужчина без женщины долго жить не может. Если ты немного со мной поживешь, я тебе дам отрез из чистого крепдечина. Удовольствие получишь и платье сошьешь.

Капа к такому ухаживанию уже привыкла, и оно ее не обижало.

— Клим, — смеялась она, — поди в баню, окатись холодной водой.

— Не поможет, — темнел лицом Клим. — Мне женщину надо. Ты не думай, я мужчина хороший.

— Клим, что ты говоришь! — ужасалась Капа.

— Я говорю то, что есть. Я знаю, ты с мужем живешь и с капитаном. А ты еще со мной поживи. С тремя мужчинами лучше жить, чем с двумя.

— Клим, ты дурак! — Капа не любила намеков на свои отношения с капитаном.

Свинцов хмурился и исподлобья смотрел на Капу.

— Если ты со мной жить не хочешь, — сказал он, подумав, — зачем обзывать? У тебя подруга есть?

— А ты, Клим, можешь жить с любой женщиной?

— С любой.

Разговор был прерван появлением капитана Миляги. От прочих людей капитана Милягу отличало то, что он всегда улыбался. Улыбался милой, приятной улыбкой, вполне соответствовавшей фамилии, которую он носил. Капитан улыбался, когда здоровался, когда допрашивал арестованных, улыбался, когда другие рыдали, короче говоря, улыбался всегда. Вот и сейчас, улыбаясь, поздоровался с Капой и с улыбкой обратился к Свинцову, который при его появлении опрокинул стул и вытянулся у дверей.

— Меня ждешь?

— Вас.

— Заходи.

Он взял у Капы ключ от своего кабинета и вошел первым. Для начала раздвинул шторы и распахнул окно, выходящее во внутренний дворик, полной грудью вдохнул свежий воздух.

На дворе лейтенант Филиппов занимался с личным составом строевой подготовкой. Личного состава, кро-

ме лейтенанта Филиппова, было пять человек. В обычное время на строевую подготовку времени никак не хватало. Всегда было слишком много работы. А тут в короткий период перехода на военные рельсы выдался свободный денек. Кроме того, и указание было обратить особое внимание на строевую подготовку.

Пять человек, построены в колонну по одному, отработывали строевой шаг. Лейтенант Филиппов шел сбоку и, воодушевляя подчиненных личным примером, высоко поднимал ноги в сверкающих хромовых сапогах.

— Ну что скажешь, Свинцов? — спросил капитан, не оборачиваясь.

— Ничего. — Свинцов лениво зевнул в кулак. — Тут ребята лошадь нашли приبلудную.

— Что за лошадь?

— Мерин. Спрашивали, никто не знает чей.

— И где ж этот мерин?

— Во дворе привязали к дереву.

— Сена дали?

— А зачем чужую лошадь кормить?

Капитан обернулся, посмотрел на Свинцова с укором.

— Эх, Свинцов, Свинцов, сразу видно — не любишь животных.

— Да я и людей-то не очень, — признался Свинцов.

— Ну ладно. Еще что?

— Вчерась, товарищ капитан, шапиёна пымал.

— Шпиона? — капитан оживился. — Где он?

— Сейчас приведу.

Свинцов вышел. Капитан сел за свой стол. Шпион был сейчас как раз кстати. Капитан взглянул на висевшую перед ним цитату: «...уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов...» «Ну что же, уничтожать, так уничтожать», — подумал капитан и улыбнулся самому себе.

Чтобы не терять даром время до возвращения Свинцова, принялся разбирать секретную почту. В нее входили всевозможные циркуляры, выписки из приказов вышестоящих инстанций, решений компетентных комиссий из протоколов каких-то ответственных совещаний. Об усилении контроля за хлебозаготовками. О подготовке к новому (военному) займу. Об усилении контроля за лицами, уклоняющимися от воинской повинности. Об усилении контроля за подбором кадров. О переводе промышленных предприятий на военные рельсы. О борьбе со слухами и распространением контрслухов.

Дверь распахнулась. В кабинет, подталкиваемый Свинцовым, вошел плохо одетый пожилой человек, национальность которого можно было определить с первого взгляда. Оценив обстановку, человек приветливо улыбнулся и с протянутой рукой подошел к капитану.

— Здгавствуйте, начальник! — сказал он, не выговаривая буквы «р».

— Здгавствуйте, здгавствуйте! — убрав руки за спину, пошутил начальник.

Задержанный приятно удивился и спросил, не принадлежит ли капитан к тому же национальному меньшинству, что и он. Капитан не обиделся, но отвечал отрицательно.

— Что вы говорите! — всплеснул руками задержанный. — А на вид такое интеллигентное лицо.

Он огляделся, взял стоящий у стены стул, подтянул его к столу капитана Миляги и сел. В этом кабинете посетители обычно вели себя сдержанней. «Видать, старик еще не совсем понял, куда попал», — весело подумал капитан, но виду не подал. Ничего не сказал он даже тогда, когда гость по-хозяйски поло-

жил локти на стол и доверчиво посмотрел в лицо капитана.

— Слушаю вас,— сказал он доброжелательно.

— Вы — меня? — улыбнулся капитан. — Давайте уж лучше наоборот. Давайте я вас послушаю.

Гость оказался покладистым, он согласился с предложением капитана.

— Во-первых,— сказал он,— я попрошу вас послать человека к моей жене Циле — она сидит на лавочке возле ворот — и сказать ей, что я скоро приду.

Капитан несколько удивился и спросил задержанного, откуда у него такие сведения, что Цили сидит именно на лавочке у ворот, а не где-нибудь в другом месте.

— Охотно вам объясню,— сказал гость. — Я уже не так молод, чтобы Цили думала, что я ночью у какой-нибудь гойши.

— Это естественно,— живо согласился капитан. — Но ваш возраст мог дать вашей супруге основания для беспокойства другого рода. Она могла предположить сердечный припадок или что вы... не дай бог, конечно, я вам этого ни в коей мере не желаю... но она могла подумать, что вы,— глаза капитана радостно засверкали,— попали, например, под машину. А? Ведь бывает такое. Ведь, согласитесь, в жизни все может случиться.

— Что вы, что вы! — замахал руками задержанный. — Моя Цили такой паникер, она всегда думает самое худшее.





— Ага,— заулыбался капитан, совершенно довольный.— Значит, вы считаете, что попасть к нам — это даже хуже, чем под машину. Я вижу, вы человек очень умный, и вы нравитесь мне тем, что очень верно оцениваете обстановку. Но в таком случае вы должны согласиться, что посылать кого-нибудь к вашей супруге и обнадеживать ее, что вы скоро вернетесь, было бы преждевременно. Вы знаете, что мы не очень охотно расстаемся с нашими гостями, и, учитывая это, стоит ли понапрасну волновать старую женщину? Это было бы в какой-то степени даже, я бы сказал негуманно.

— Я вас понимаю,— охотно согласился старик.— Я вас очень хорошо понимаю. Мне тоже приятно видеть ваше лицо, начальник, но нам все-таки скоро придется проститься, и я вам скажу почему. Но прежде всего я попрошу вас уволить этого идиота.— Большим пальцем гость указал на стоявшего за его спиной Свинцова.

— Как вы сказали? — предвкушая большое веселье, переспросил капитан.— Вы сказали этого идиота?

— А скажите мне, кто же он есть? Вы спросите его, что он причепился ко мне на базаре? Что я такое ему сделал?

— Да в самом деле,— капитан повернул голову к подчиненному.— Свинцов, что он тебе такого сделал?

— Пуцдай сам скажет,— хмуро буркнул Свинцов.

— И скажу,— пригрозил задержанный.— Я все скажу, как было.

— Буду очень рад вас послушать,— искренне сказал капитан.

Он потянулся к стоявшему за его спиной сейфу,

достал стопку линованной бумаги и положил на стол перед собой. На первом листе было написано:

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА №

Гр-на (нки)
(фамилия, имя, отчество)
Год рождения
Место рождения
Социальное происхождение
Национальность
Партийность
Образование
Профессия
Должность и место работы
обвиняемого(ой), подозреваемого(ой)
(нужное подчеркнуть)
в преступлениях по ст. ст. УК РСФСР

Капитан вынул из железного стаканчика самопишущую ручку с золотым пером, подчеркнул нужное: «обвиняемого» — и доброжелательно посмотрел на своего визави.

— Итак? — сказал капитан.

— Вы хотите записать то, что я вам скажу? — спросил гость почти польщенно.

— Непременно,— кивнул капитан.

— Ладно, пишите,— вздохнул обвиняемый.— Я старый человек, получаю пенсию двенадцать рублей, а глаза у меня открыты и видят, где чего дают. В воскресенье утром в двадцать минут восьмого меня разбудила моя жена Циля. Записали? Она сказала: «Мойша, у нас нечего есть. Ты должен пойти на базар и продать что-нибудь из вещей». А я имею профессию сапожника и у меня всегда есть немножко кожи.

Я взял старые хромовые голенища и пошел на базар. И тут ко мне подходит этот ваш идиот и спрашивает: какое я имею право спекулировать. Я ему объясняю, что спекуляция — запишите — это когда покупают дешево, а продают дорого. А я ничего не покупаю, я только продаю. Тогда он спросил, какая у меня фамилия, и я ему сказал. И он взял меня за шиворот и потащил в ваше отделение. А вокруг собрался народ, и все стали говорить, что тут поймали шпиона. А я вам должен сказать откровенно, что я совсем не шпион. У меня есть очень хорошая профессия, и свой кусок хлеба я всегда заработаю. А если ему не понравилась моя фамилия...

— Какая фамилия? — перебил Миляга и занес ручку над протоколом.

— Моя фамилия — Сталин.

Капитан вздрогнул, но тут же не забыл улыбнуться.

— Как вы сказали?

— Вы хорошо слышали, как я сказал.

Капитан пришел в себя. Он встречал всяких сумасшедших, в том числе и страдающих манией величия. Он мигнул Свинцову, тот сделал движение рукой, и самозванец — много ли ему надо? — свалился со стула.

— О-ой! — застонал он, поднимаясь. — Ой, начальник, этот ваш идиот таки снова дерется! Вы видите, у меня из носа течет кровь. Я прошу записать это в ваш протокол.

С трудом поднявшись, он стоял перед капитаном и держался за нос, из которого действительно падали на пол большие красные капли.

— Ну ничего, — улыбнулся капитан. — Человек погорячился. Но у него были основания. Он, может быть, нервный, а вы его оскорбляете, называя идиотом. В его лице вы оскорбляете и те органы, которые он собой представляет. Я уже не говорю о том, что вы посмели назвать себя именем, которое всем нам слишком дорого, которое в нашей стране может носить только один человек, вы знаете, о ком я говорю.

— Ой, начальник! — покачал головой самозванец. — Зачем вы так строго со мной говорите? Вы даже не можете себе представить, что с вами будет, когда вы посмотрите мой документ. Вы будете вместе с вашим идиотом вылизывать с пола мою кровь языком. А потом я буду приходить к вам и буду снимать штаны, и вы вместе с вашим идиотом будете целовать меня в заднее место.

Новый удар Свинцова свалил его с ног. При этом изо рта его вылетела вставная челюсть, стукнулась о косяк и раскололась надвое. Обхватив голову руками, самозванец стонал и выкрикивал что-то бессвязное.

— Свинцов, — сказал капитан, — а в самом деле, где его документы?

— Не знаю, — сказал Свинцов, — не смотрел.

— Посмотри.

Свинцов нагнулся над потерпевшим, обшарил и положил на стол капитана старый засаленный паспорт. Капитан брезгливо раскрыл паспорт, посмотрел и глазам своим не поверил. Может быть, первый раз в жизни улыбка сползла с лица капитана. Ему показалось, что в кабинете темно, он включил настольную лампу. Буквы, четко выведенные канцелярской тушью, прыгали перед глазами Миляги, он никак не мог их сложить. Слатин, Сатлин, Салтин... Нет, все-таки Сталин. Сталин Моисей Соломонович. Неужели родственник? Капитана знобило. Он уже видел себя представленным к стенке. Бог ты мой, что же это такое! Ведь отец Сталина, кажется, был сапожник!

— Свинцов! — сказал капитан, — не слыша собственного голоса. — Выйди из кабинета!

Свинцов вышел. Но это не облегчило положения

капитана. На какое-то время он просто сошел с ума и производил совершенно бессмысленную работу: то придвигал к себе какие-то бумажки, то отодвигал их. Потом схватил пресс-папье, придавил им паспорт, подал на паспорт и двумя руками осторожно подвинул его к краю стола.

А задержанный, между прочим, все еще лежал на полу.

Он лежал в прежней позе, скорчившись и держа голову двумя руками, словно боялся, что иначе она вовсе отвалится.

Капитан отодвинул стул и, приняв стойку «смирно», произнес во весь голос, словно командовал:

— Здравствуйте, товарищ Сталин!

Сталин отнял от лица одну руку и недоверчиво покосился на капитана.

— Здравствуйте, здравствуйте, — осторожно сказал он. — Мы уже виделись.

Надо было бы помочь ему встать, но капитан не решался. У него дрожали колени и во рту появился керосиновый привкус.

— Вы... — сказал он и сглотнул слюну. — Вы — и облизал губы. — Вы папа товарища Сталина?

— Ой, как у меня все болит! — Сталин пополз на четвереньках по полу, подобрал сперва один кусок челюсти, потом другой. — Мои зубы! — простонал он, глядя на эти обломки. — Боже мой, что я теперь без них буду делать?

Он с трудом поднялся и сел перед капитаном. Посмотрел ему в глаза.

— Что, испугался, бандит? — спросил он злорадно. — Садись, сволочь, сто бочек на твою голову. Где я возьму теперь такие зубы?

— Мы вам вставим новые, — поспешил заверить капитан.

— Новые, — передразнил старик. — Где вы возьмете такие новые, хотел бы я знать? Эти зубы вставлял мне мой сын. Разве в этом городе кто-нибудь умеет делать такие зубы?

— Эти зубы делал лично товарищ Сталин? — умилился капитан и протянул руку. — Можно потрогать?

— Дурак, — сказал Сталин, отодвигая обломки. — У тебя руки в крови, а ты ими все хочешь трогать.

И тут в мозгу капитана забрезжило спасительное воспоминание. Если это отец Сталина, то, значит, сам Сталин должен называться Иосиф Моисеевич. Но его ведь зовут... его ведь зовут... Миляга никак не мог вспомнить ощущение любимого вождя.

— Я извиняюсь, — начал он нерешительно, — но ведь, кажется, у папы товарища Сталина другая фамилия. И имя не такое. — Постепенно капитан приходил в себя. — Почему же, собственно говоря, вы себя выдаете за папу товарища Сталина?

— Потому что я и есть папа товарища Сталина. Мой сын, товарищ Зиновий Сталин, самый известный в Гомеле зубной техник.

— Вот оно что! — К капитану вернулось игривое настроение. — Ну что ж, у нас зубные техники тоже работают очень неплохо.

Он нажал кнопку звонка. В дверях появилась Капа.

— Свинцова! — приказал капитан.

— Сейчас. — Капа вышла.

— Вы хотите опять позвать сюда этого идиота? — забеспокоился Сталин. — Вы знаете, я вам не советую этого делать. Вы еще молодой человек, у вас все впереди. Зачем вам портить свою карьеру? Послушайте совета старого человека.

— Я вас уже слушал, — улыбнулся капитан.

— Послушайте еще. Я с вас денег за совет не возьму. Я вам только хочу сказать, что если кто-нибудь узнает, что вы арестовали и били Сталина, пусть даже не того Сталина и даже не его папу,

а просто какого-нибудь Сталина, боже мой, вы даже не представляете, что с вами будет!

Капитан задумался. Пожалуй, старик прав. Положение действительно щекотливое.

Вошел Свинцов.

— Звали, товарищ капитан?

— Выйди,— сказал Миляга.

Свинцов вышел.

— Послушайте,— сказал капитан,— Моисей... Э...

— Соломонович,— не без достоинства подсказал Сталин.

— Моисей Соломонович, зачем вам носить эту фамилию? Вы же знаете, кому она принадлежит.

— Во-первых, она принадлежит мне,— сказал Моисей Соломонович.— Потому что мой отец был Сталин и мой дедушка тоже Сталин. Нам эту фамилию дали еще за царя. Дедушка имел небольшой заводик, где он варил сталь. И поэтому его прозвали Сталин.

— Но все-таки неудобно такое совпадение...

— Это вам неудобно, а мне даже очень удобно. Потому что если у меня будет фамилия Шпильман или, например, Иванов, так-таки этот ваш идиот сможет вставлять мне зубы, сколько захочет. Между прочим, в Гомеле начальник много раз предлагал мне менять мою фамилию, но я сказал ему одно слово — нет. Между прочим, он был на вас очень похож. Это был не ваш брат?

— У меня нет братьев,— грустно сказал капитан.— Я был единственный ребенок в семье.

— Мне-таки вас очень жаль,— посочувствовал Сталин.— Один ребенок в семье — это всегда плохо. Потому что он может вырасти эгоист.

На это замечание капитан ничего не ответил. Изорвав протокол допроса, он бросил его в корзину. Затем он встал, объявил гостю, что был очень рад познакомиться, и протянул руку. Но гость уходит не спешил. Прежде чем покинуть Учреждение, он попросил вернуть ему голенища и выписать направление в областную поликлинику для ремонта зубных протезов.

— Это мы устроим.— Капитан вызвал Капу и приказал ей немедленно составить соответствующий текст.

Капа была потрясена приказанием, не зная, чем оно продиктовано. Учреждение всегда проявляло заботу о людях, но не до такой же степени!

— Может быть, вы отправите его на курорт? — спросила она насмешливо.

Старик оживился и просил на курорт его куда не отправлять.

— Я очень люблю курорт и особенно Крым,— сказал он.— Крым — это жемчужина юга, это цимес. Но я боюсь, что туда скоро войдут эти немцы.

— Да, уж немцы бы вас полечили,— сказала Капа многозначительно.

Ей тут же пришлось пожалеть о своем неосмотрительном замечании. Старик выразил явное недовольство.

— Эта девушка, мне кажется, немножко антисемитка,— сказал он с явной тревогой за ее будущее.— А ведь она молодая и выросла, я думаю, не при старом режиме. А, наверное, она партийная или комсомолка.

Глядя на Капу как на несчастную калеку, он вздыхал, охал, качал головой и сказал с горечью, что, если она не изменит своих убеждений, ей придется тоже целовать его «в заднее место». Однако, прежде чем приступить к этой церемонии, ей придется вытереть губы.

— Потому что моя жена Циля,— объяснил он,— очень ревнива. И если она увидит губную помаду, получится целый гвалт и разлад семьи.

Не понимая, что происходит, Капа взглянула на

капитана. Почему он позволяет этому наглецу так разговаривать? Почему он не прикажет немедленно его расстрелять?

— Капочка,— улыбнулся ей капитан, явно торопясь замять инцидент,— я тебя очень прошу — пойди и выпиши товарищу направление.

Обиженно поджав губы, Капа отправилась выполнять приказание. Она тут же вернулась и, не глядя на старика, спросила, как его фамилия. Сталин охотно открыл рот, но его опередил капитан.

— Не нужно никакой фамилии,— быстро сказал он.— Напиши на предьявителя.

— Ничего не понимаю,— сказала Капа.— Что это за человек, у которого нет фамилии?

— У меня есть фамилия,— сказал старик.

— Да, у него есть фамилия,— подтвердил капитан,— но она секретная.— Он улыбнулся отдельно старику и отдельно Капе.— Пойди и напиши, что тебе сказано. Предьявитель сего направляется...

Несколько минут спустя капитан провожал старика до ворот, как самого почетного гостя. На лавочке у ворот действительно сидела старая женщина. Она держала на коленях рваную плетеную кошелку и смотрела прямо перед собой. Сразу было видно, что ожидание есть привычное ее состояние. Минуты и часы ожидания она заполняла обычно перечислением великих людей, которых дал миру ее народ. Сейчас она смотрела прямо перед собой и, загибая пальцы, бормотала:

— ...Маркс, Эйнштейн, Спиноза, Троцкий, Свердлов, Ротшильд...

— Циля,— сказал ей Сталин,— я хочу познакомиться тебя с этим молодым человеком. Это очень интересный молодой человек.

— Он еврей? — оживилась Циля.

— Он не еврей, но он очень интересный молодой...

— Ох! — потеряв к Миляге интерес, покачала головой Циля.— Что у тебя за дурная прививка? Как только приезжаем на новое место, ты сразу идешь к этим гоям. Неужели ты не можешь найти себе другую компанию?

— Циля, ты напрасно так говоришь. Это очень хороший молодой человек. Он даже немножко лучше того, который был в Гомеле. Потому что тот, который был в Гомеле, держал меня в тюрьме трое суток и трое суток я ему объяснял, почему меня нельзя держать в тюрьме. А этот понял все сразу.

Вернувшись к себе, капитан Миляга сказал Капе что-то примирительное и взял у нее письмо, пришедшее с сегодняшней почтой. Вероятно, это была анонимка: Адрес Учреждения был написан левой рукой, адрес отправителя вовсе отсутствовал. В этом не было ничего необычного. В Учреждение, возглавляемое капитаном Милягой, граждане почти всегда писали письма без обратного адреса и за редкими исключениями левой рукой. (Исключения составляли левши, они обычно писали правой рукой.) В таких письмах содержались обычно мелкие доносы. Кто-то критиковал карточную систему. Кто-то выражал сомнение в нашей скорой победе над немцами. Кто-то на кухне рассказал анекдот сомнительного содержания. Некий бдительный товарищ просил обратить внимание на творчество поэта Исаковского. «Слова данного поэта,— писал бдительный товарищ,— в песне «Лучше нету того свету...» звучат с пластинок и разносятся при помощи радио на весь Советский Союз, в том числе и известная строчка «Как увижу, как услышу». Но прислушайтесь внимательно, и вы уловите нечто другое. «Каку вижу, каку слышу» — вот как звучит этот текст, если прислушаться». Бдительный товарищ предлагал пригласить поэта Куда Надо и задать ему прямой вопрос: «Что это? Ошибка или злой умысел?» Заодно автор письма сообщал, что он уже сигнализи-

ровал об этом вопиющем факте в местную газету, однако ответа до сих пор не получил. «Упорное молчание газеты,— делал вывод бдительный товарищ,— поневоле наводит на мысль, не находится ли редактор в преступной связи с поэтом Исаковским, а если находится, то не является ли это признаком разветвленной вредительской организации?»

К чести Учреждения надо сказать, что оно принимало меры далеко не по каждому такому сигналу, иначе на воле не осталось бы ни одного человека.

Итак, письмо, пришедшее с последней почтой, на первый взгляд казалось вполне заурядным. Но капитану почему-то подумалось, что именно в этом письме содержится важное сообщение. Он вскрыл письмо и с первых строк понял, что не ошибся.

«Сообщаем, что в нашем селе Красное скрывается дезертир и предатель Родины товарищ Чонкин Иван, который проживает в доме почтальона Беляшовой Анны и имеет при себе оружие, а также боевую технику в виде аэроплана, который не летает на бой с немецко-фашистскими захватчиками, а стоит в огороде без всякой пользы в период тяжелых испытаний для нашей страны. Красноармеец Чонкин Иван, хотя его место на фронте, на фронте не воюет, а занимается развратом, различными видами пьянки и хулиганства. Вышеупомянутый Чонкин Иван высказывал незрелые мысли и недоверие к марксистско-ленинскому учению, а также к трудам Ч. Дарвина о происхождении человека, в результате которых обезьяна в человека превратилась посредством труда и осмысленных действий. Плюс к вышеуказанному, он допустил преступную поправку скотиной Беляшовой Анной огорода известного местного селекционера и естествоиспытателя Гладышева Кузьмы, и этими своими действиями Чонкин, безусловно, нанес большой урон нашей советской науке сельского хозяйства на ниве гибридизации. Просим унять зарвавшегося дезертира и привлечь к ответственности по всей строгости советских законов. К сему жители деревни Красное».

Капитан прочел письмо и красным карандашом подчеркнул слова «дезертир, предатель, Чонкин». Синим карандашом подчеркнул фамилию «Гладышев», сбоку написал «анонимщик» и поставил вопросительный знак.

Письмо было как раз кстати. Пора было приниматься за претворение в жизнь указаний Верховного Главнокомандующего. Капитан вызвал к себе лейтенанта Филиппова.

— Филиппов,— сказал он ему,— возьми сколько тебе нужно людей, завтра поедешь в Красное, арестуешь дезертира по фамилии Чонкин. Ордер получишь у прокурора. Разузнай, кто такой Гладышев. Может быть, он нам еще пригодится.

19

С вечера небо затянуло обложными тучами, и пошел дождь. Он шел не переставая всю ночь, и к утру дорогу так развезло, что идти по ней было невыслюмо. Нюра шла по обочине, и ее большие, отцовские еще сапоги то и дело слезали, приходилось придерживать их за голенища. Да еще сумка от дождя набухла и норовила сползти с плеча. Промаявшись так километра два с половиной, вышла Нюра к первой развилке и увидела крытую брезентом полуторку. Возле нее копалось несколько человек в серых гимнастерках. Промокшие и перелачканные с ног до головы, они расчищали кто лопатами, а кто и просто руками дорогу перед машиной, а один с двумя кубиками на петлицах стоял чуть в стороне и курил, прикрывая ладонью от дождя расклеившуюся самокрутку. Сзади из-за машины вышел огромный верзила с куском фане-

ры, используемой вместо лопаты. Увидев Нюру, огибавшую полуторку стороной, верзила остановился и уставился на нее зверскими своими глазами из-под рыжих бровей.

— Женчина! — вскричал он удивленно, словно встреча произошла на необитаемом острове.

Люди в серой форме бросили работу, повернулись к Нюре и стали молча ее разглядывать. Под их взглядами Нюра попятилась.

— Девушка! — окликнул Нюру тот, что курил.— До Красного далеко?

— Нет, не далёко,— сказала Нюра.— Вот еще с километр проедете, за бугор переверните, а там уже будет видно. А кого вам нужно? — Она осмелела.

— Там у вас дезертир какой-то живет, мать его в душу,— доверчиво объяснил стоявший возле лейтенанта боец с лопатой.

— Прокопов,— строго оборвал его лейтенант,— не болтай.

— А чего я такого сказал? — Прокопов бросил лопату и сел за руль. Машина тронулась, продвинулась немного вперед и снова засела в грязь. Нюра пошла дальше. Она прошла немного по дороге, потом забрала вправо и низом, низом вдоль речки кинулась назад, к Красному.

Чонкин спал так крепко, что разбудить его удалось не сразу. Пришлось даже плеснуть в лицо холодной воды. Нюра рассказала о людях, застрявших на пороге, о разговоре насчет дезертира.

— Ну и пушай ловят своего дезертира,— мотал сонной головой и не мог ничего понять Чонкин.— Я-то здесь при чем?

— О, господи! — всплеснула руками Нюра.— Да неужто ты не можешь понять? Дезертир-то кто? Ты.

— Я дезертир? — удивился Чонкин.

— Я, что ли?

Чонкин спустил ноги с кровати.

— Чтой-то ты не то, Нюрка, болтаешь,— недовольно сказал он.— Какой же я тебе дезертир, сама подумай. Меня сюда поставили охранять эроплан. Сколь я ни обращался в часть, никто меня не сымает. Сам я покинуть пост не могу, не положено по уставу. Как же я могу быть дезертиром?

Нюра стала плакать и умолять Чонкина принять какие-то срочные меры, потому что им все равно ничего не докажешь.

Чонкин подумал и решительно встряхнул головой.

— Нет, Нюрка, прятаться мне негоже, потому что я свой пост оставлять не имею права. И снять меня не может никто, кроме разводящего, начальника караула, дежурного по части или...— Чонкин подумал, какое еще ответственное лицо может снять его с поста, и решил, что после дежурного по части он может подчиниться не ниже чем генералу...— или генерала,— заключил он. И стал одеваться.

— И чего ж ты будешь делать? — спросила Нюра.

— А что мне делать? — пожал он плечом.— Пойду, стану на пост, и пушай попробует кто подойти.

На дворе по-прежнему шел дождь, поэтому Чонкин надел шинель, а поверх нее натянул ремень с подсумками.

— Стрелять в их будешь? — с испугом спросила Нюра.

— Не тронут, не буду,— пообещал Чонкин.— А если уж тронут, пушай не обижаются.

Нюра кинулась к Ивану, обхватила его шею руками, заплакала.

— Ваня,— попросила она, давась слезами.— Прости тебя, не противься им. Убьют.

Чонкин провел рукой по ее волосам. Они были мокрые.

— Что делать, Нюрка,— вздохнул он.— Я ж часовой. Давай на всякий случай простимся.

Они поцеловались три раза, и Нюра, хотя и не умела этого делать, перекрестила его.

Чонкин перекинул винтовку через плечо, нахлобучил пилотку и вышел на улицу. Дождь как будто бы утихал, и где-то за Ново-Клюквинным засветилась неяркая радуга.

С трудом выдирая ноги из липкой грязи, Иван прошел к самолету, чувствуя, как в худой правый ботинок сразу же просочилась вода. Дождь шуршал, как пшено, по тугой обшивке крыльев, тяжелые капли дрожали на промасленном брезенте чехла. Чонкин забрался на правую нижнюю плоскость, а верхняя укрывала его от дождя. Сидеть было не очень удобно, потому что плоскость была покатою и скользкой. Зато обзор был хороший, и Чонкин держал в поле зрения обе дороги — верхнюю и ту, что шла вдоль берега Теты.

Прошел час, никто не появлялся. Прошло еще полчаса, Нюра принесла завтрак — картошку с молоком. Тут кончился дождь и выглянуло солнышко. Оно отразилось в лужах и засверкало яркими блестками в каждой капле. То ли от солнца, то ли от завтрака, то ли от того и другого вместе у Чонкина улучшилось настроение и прошло ощущение близкой опасности. И стал он даже немножко подремывать.

— Эй, армеец!

Чонкин вздрогнул и вцепился в винтовку. У забора стоял Плечевой. Он стоял босиком, и обе штанины его были подвернуты почти до колен. Через плечо перекинут был бредень.

— Ишу напарника с бредешком походить, — объяснил он, с любопытством поглядывая на Чонкина.

— Отойди, — сказал Чонкин и отвернулся. Но одним глазом приглядывал все-таки за Плечевым.

— Да ты что? — удивился Плечевой. — Обиделся на меня? Если ты насчет того, что я про Борьку рассказывал, так это ты зря. Я сам не видел, может, она с ним и не живет. — Плечевой повесил бредень на забор, нагнулся и просунул ногу между жердями. Он собирался просунуть уже и вторую, но Чонкин соскочил с плоскости.

— Эй, эй, не лезь! Застрелю! — закричал он и направил винтовку на Плечевого.

Плечевой попятился назад, поспешно стащил бредень с забора.

— Чокнутый ты, паря, ей-богу, — проворчал он и направился к реке.

Тут из-за бугра показалась крытая машина. Шофер газовал и крутил банку. Рядом с ним на подножке, держась за дверцу, стоял перепачканный лейтенант и командовал. Остальные люди в серых мундирах, уже и вовсе с ног до головы заляпанные грязью, взмыленные, подталкивали. Машина все равно пробуксовывала, и зад ее заносило то в одну сторону, то в другую. С любопытством наблюдая эту неожиданную сцену, Плечевой посторонился.

— Эй, товарищ, помог бы! — хрипло прокричал ему лейтенант.

— Ну да, делать нечего, — пробурчал Плечевой и, повернувшись, медленно пошел дальше. Но потом ему стало совсем любопытно, он вернулся и пошел обратно за машиной, которая подъехала к правлению и там остановилась.

20

Иван Тимофеевич Голубев в своем кабинете трудился над составлением отчета о ходе сеноуборки за последнюю декаду. Отчет был, конечно, липовый, потому что никакой уборки в последнюю декаду почти не было. Мужики уходили на фронт, бабы их собирали — какая уж тут уборка! В райкоме, однако, такую причину уважительной не считали, Борисов мате-

рился по телефону, требовал выполнения плана. Он, конечно, знал, что требует в эти дни невозможного, но бумажка о сделанной работе была для него важнее самой работы — его тоже материли те, кто стоял над ним. Поэтому он собирал бумажки со всех колхозов, складывал цифры, составлял свою бумажку и посылал в область, где на основании районных отчетов тоже сочиняли бумажку, и так шло до самого верха.

Вот почему председатель Голубев сидел сейчас в кабинете и вносил лепту в общее большое бумажное дело. Он расчертил лист бумаги на клеточки, в которых против фамилий бригадиров проставлял гектары, центнеры, проценты и трудодни. Потом позвал счетовода Волкова, сидевшего в соседней комнате. Волков быстро на счетах сложил цифры в каждой колонке, и председатель проставил их в графе «итога». Отпустив счетовода, председатель поставил свою четкую подпись, подул на свежиспеченный документ и отодвинул, чтобы полюбоваться издали. Цифры выглядели внушительно, и председатель поймал себя на ощущении, что сам этим цифрам частично верит. Сделав дело, встал, чтоб размяться. Потягиваясь, подошел к окну и застыл с поднятыми руками.

Перед конторой стояла полуторка с крытым верхом. Возле нее толпились перепачканные люди в серых мундирах, а двое поднимались уже на крыльцо. «За мной!» — ахнул мысленно председатель. Как ни готовился он к своей участи, но сейчас появление этих людей застало его врасплох. Тем более что он просился на фронт и, кажется, его просьбу собирались удовлетворить. Теперь все кончено. Председатель заметался по кабинету. Что делать? Бежать бессмысленно, да и куда — вон их шаги уже слышны в соседней комнате, там, где сидит счетовод. Спрятаться? Смешно. Вдруг взгляд его упал на только что составленную бумагу. Вот она, улика! Сам себе подписал приговор. Что делать? Сжечь? Поздно. Изорвать? Склеять. Выход был только один. Иван Тимофеевич скомкал бумагу и затолкал в рот. Но прожевать не успел.

Дверь отворилась, на пороге появились двое. У первого, зрелого, были кубики на петлицах, у второго, со звероподобным лицом, — треугольнички.

Лейтенант, размазывая грязь, стер рукавом пот с лица и поздоровался. В ответ раздалось неясное мычание.

Решив, что перед ним обычный глухонемой, лейтенант недовольно поморщился, ибо не любил людей, не умеющих отвечать на задаваемые им вопросы.

— Где председатель? — строго спросил он. — Голова! — Руками он изобразил большую голову.

— Муу-у, — промычал председатель и покорно ткнул себя пальцем в грудь.

Лейтенант сперва удивился, он никогда не видел глухонемых председателей (как же он выступает на собраниях?), но подумал, что раз так есть, значит, так надо, и стал объяснять, помогая себе руками:

— Понимаешь, тут есть один человек... дезертир, понимаешь? — Лейтенант, как мог, изобразил сначала бой («паф-паф»), а затем человека, бегущего с поля боя. — И мы его должны... — Он выхватил из кобуры пистолет и ткнул председателя им в живот... — Руки вверх!

Председатель отвалил нижнюю челюсть, заслоняленный ком бумаги выпал у него изо рта, а сам он вдруг зашатался и рухнул на пол, ударившись при этом затылком о стену.

Лейтенант растерялся, посмотрел на председателя, потом на бойца, безмолвно застывшего возле дверей.

— Вот черт, — пробормотал он растерянно. — Увидел пистолет — и сразу в обморок. Бумагу зачем-то жрет. — Он поднял с пола изжеванную бумагу,

брезгливо развернул ее, посмотрел, бросил на стол. Потрогал лежащего носком сапога, потом нагнулся, стал бить его по щекам.— Эй, вставай, слышь, что ли, вставай, нечего тут придуриваться.— Взял руку, пощупал запястье.— Не разберу — есть пульс или нет.

Он расстегнул на председателе френч, рубашку и приложил ухо к груди.

— Свинцов, не топай,— сказал он и прислушался. Сердце если и билось, то так тихо, что его не было слышно.

— Ну что? — с любопытством спросил Свинцов.

— Не разберу.— Лейтенант поднялся с колен, хотел отряхнуть их, но, посмотрев на брюки, понял, что этого делать не надо.— А ну-ка послушай ты, у тебя, может, слух получше.

Свинцов, в свою очередь, стал на колени и приложил ухо к груди. Потом поднял голову и сказал:

— Мыши.

— Какие мыши? — не понял лейтенант.

— Под полом скребутся,— объяснил Свинцов.— А может, и крысы. Писк такой грубый, вроде бы не мышинный. У меня в подполе прошлый год завелись, а я попервах не понял, думал, мыши, и кошку сдуру туда и запусти. Так они на ее там как набросились, и хвост объели, еле жива осталась.

— Свинцов, я тебе разве мышей слушать приказывал? Сердце бьется или не бьется?

— А кто его знает,— ответил Свинцов.— Я же не врач и в этом деле без особого понимания. Я думаю так, фортку надо открыть для свежего воздуха. Если живой, значит, очнется, если мертвый — с носа чернеть начнет. А так разве определишь?

— Черт-те чего,— сказал в сердцах лейтенант,— народ какой-то пошел слаонервный. И чего они нас боятся? Мы же кого попало не хватаем, а только по ордеру. Ладно, хрен с ним, пусть лежит. Пойди в соседнюю комнату, приведи однорукого. Только не груби, а то и он загнется, где мы тогда понятого возьмем?

Свинцов открыл дверь в соседнюю комнату и позвал Волкова.

Волков робко переступил порог, а когда увидел лежащего под столом председателя, вовсе позеленел и затрясся от страха.

— Вы знаете этого человека? — кивнул лейтенант на неподвижно распластанное тело.

— Не знаком! — прокричал Волков, прикусив с перепугу язык.

— Как не знаком? — удивился лейтенант.— Кто же это?

— Председатель Голубев,— теряясь от нелепости своих ответов, пролепетал Волков.— Но я с ним только по службе, а в смысле личных отношений мы даже не разговаривали.

— Так уж не разговаривали? — недоверчиво посмотрел лейтенант.— Что ж это вы встречались и ни разу, ни одним словом не перемолвились?

— Ни одним... Ей-богу, ни одним. Я, конечно, беспартийный... образование у меня маленькое, я в этих делах ничего не понимаю.

— А мы тебя научим понимать,— с места сказал Свинцов.

— Он мне однажды, правда, сказал, что труды Маркса — Энгельса рабочему человеку понять трудно, тут, мол, нужно иметь специальную политическую подготовку.

— Так,— сказал лейтенант.— И все?

— И все.

Свинцов тяжело шагнул к Волкову и приставил к его носу огромный красный кулак, заляпанный родинками или веснушками.

— Ты у меня брось записаться, а то я тебе нос

набок сверну. Тебя лейтенант вежливо спрашивает, так ты, падло, вежливо отвечай.

Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы лейтенант не вспомнил, что пришел сюда вовсе не за тем, чтобы допрашивать Волкова. Оборвав грубость Свинцова, он объявил Волкову, что ему в качестве понятия доверяют присутствовать при аресте дезертира Чонкина.

21

Они шли развернутым строем по широкой улице Красного. Их было семь человек. Восьмым был счетовод Волков, он плелся, сильно отстав и испуганно озираясь по сторонам, словно ждал неожиданного нападения сзади.

Завидев их, жители деревни прятались по избам и осторожно выглядывали из-за занавесок, дети переставали плакать, и собаки не лаяли из-под ворот.

Тишина стояла, как перед рассветом в тот самый час, когда все, кто ложится поздно, уже легли, а те, кто рано встает, еще не встали.

Люди, смотрившие за ними из-за занавесок, замирали, когда строй приближался к их избам, и облегченно вздыхали, когда он проходил мимо. И снова затаивались в любопытстве и страхе: куда же они? К кому?

Когда же серые люди прошли дом Гладышева, всем стало ясно: идут к Чонкину, больше не к кому — одна только изба перед ними осталась, последняя.

— Стой! Кто идет? — неожиданно для всех раздался голос Чонкина. В предшествующей тишине он показался таким громким, что его услышала вся деревня.

— Свои,— не останавливаясь, буркнул лейтенант и дал знак подчиненным не задерживаться, идти дальше.

— Стой! Стрелять буду! — Чонкин щелкнул затвором.

— Не стреляй, ты арестован! — прокричал лейтенант, на ходу расстегивая кобуру револьвера.

— Стой! Стрелять буду! — повторил Чонкин и, взяв оружие на изготовку, дал предупредительный выстрел в воздух.

— Бросай оружие! — Лейтенант быстрым движением выхватил пистолет и, не целясь, выстрелил в направлении Чонкина. Чонкин ловко нырнул под фюзеляж и вылез с другой стороны. Пуля прошла капот двигателя и застряла где-то там внутри.

Чонкин пристроил винтовку на конце фюзеляжа возле кили и осторожно высунул голову. Серые приближались. Теперь они все держали пистолеты в руках, а безоружный счетовод Волков, все удаляясь от лейтенанта и отставая, стремился укрыться за широкой спиной Свинцова. Чонкин, не теряя времени, совместил линию прицела с подбородком лейтенанта и нажал на спусковой крючок. Но в этот момент его кто-то толкнул под локоть, и это спасло лейтенанта. Пуля просвистела над самым его ухом.

— Ложись! — крикнул лейтенант и первым самоотверженно бухнулся в грязь.

Чонкин вздрогнул и обернулся. Испуганный выстрелом кабан Борька отскочил и теперь приближался снова с настороженным дружелюбием.

— Брысь! — Чонкин замахнулся на Борьку прикладом, но тот, поняв этот жест как шутку, набросился на Ивана, и унять его было не просто. А серые, хоть и залегли рядом со своим командиром, могли в каждую минуту ринуться в наступление.

Первым опомнился лейтенант.

— Эй, ты! — Отклеившись от земли, лейтенант поднял над головой какую-то бумагу.— Ты арестован. Вот ордер на твой арест, подписанный прокурором.

— Неужели сам прокурор подписал? — удивился Чонкин.

— А что же я буду обманывать? — обиделся лейтенант не столько за себя, сколько за свое учреждение. — Мы без санкции прокурора не берем.

— И фамилию мою прокурор знает?

— А как же. Ты ведь Чонкин?

— Чонкин. А то кто ж. — Он даже засмеялся, смущенный тем, что такие большие люди отрывались от своих больших дел, запоминали его фамилию и записывали на официальной бумаге.

— Ну, так ты будешь сдаваться? — допытывался лейтенант.

Чонкин подумал. Ордер — документ, ничего не скажешь, серьезный. Но в уставе не сказано, чтоб частного с поста снимали по ордеру.

— Не могу, товарищ лейтенант, никак не могу, — придавая своему голосу интонацию полного сочувствия, сказал Чонкин. — Я, конечно, понимаю — у вас задание. Но кабы ж ты был разводящий, либо начальник караула, или хотя б дежурный по части...

— Считай, что я дежурный по части, — согласился лейтенант.

— Не, — сказал Чонкин. — В нашей части таких нет. Я всех командиров знаю на личность, потому служил при столовой. Понял? И форма у тебя не такая.

— Ну, ладно, — рассердился лейтенант. — Не хочешь сдаваться по-хорошему, заставим по-плохому.

Он решительно встал на ноги и двинулся к Чонкину. В одной руке он держал пистолет, а другую с ордером поднял над головой. За лейтенантом поднялись и осторожно передвигались его подчиненные. Счетовод Волков остался на месте.

— Эй! Эй! — кричал Чонкин. — Лучше стойте! А то ведь я буду стрелять! Я ведь на посту!

Он во что бы то ни стало хотел избежать кровопролития, но ему больше не отвечали. Чонкин понял, что переговоры завершились неудачно, и снова перекинул винтовку через фюзеляж. Борька мешал ему, хватал зубами за полу шинели, тогда Чонкин левой рукой стал чесать ему бок, приговаривая: «Боря-Борь-Борь-Борь». Держать винтовку одной рукой было неудобно, но зато Борька теперь не мешал, он тут же размяк, улегся в грязь и задрал ноги. Как все свиньи, он любил ласку.

— Чонкин! — предупредил лейтенант. Приближаясь, он размахивал ордером и пистолетом. — Не вздумай стрелять, хуже будет.

Прозвучал выстрел, пуля прожгла бумагу насквозь, да еще в том самом месте, где стояла печать с подписью прокурора. Лейтенант и его подчиненные, теперь уже без команды, повалились на землю.

— Ты что наделал, паскуда! — чуть не плача кричал лейтенант. — Ты испортил документ, подписанный прокурором! Ты прострелил печать с гербом Советского Союза! Ты за это ответишь!

Очередной выстрел снова заставил его ткнуться в грязь носом. Стараясь не поднимать голову, лейтенант повернул лицо к Свинцову.

— Свинцов, заползай с той стороны! Надо его отвлечь.

— Есть! — ответил Свинцов и приподнял зад, в который тут же, как шмель, впилась пуля, посланная Чонкиным.

Свинцов вдавил себя в мокрую землю и заревел нечеловеческим голосом.

— Что с тобой, Свинцов? — обеспокоился лейтенант. — Ты ранен?

— Ва-ва-ва-ва! — выл Свинцов не от боли, а от страха, что рана смертельная.

Чонкин из-за укрытия бдительно следил за своими противниками. Они лежали в грязи, и все, кроме

рыжего, не подавали признаков жизни. Позади всех лежал влипший в эту историю ни за что ни про что счетовод Волков.

За своей спиной Чонкин услышал чьи-то медленные шаги.

— Кто там? — вздрогнул он.

— Это я, Ваня, — услышал он голос Нюры.

— А, Нюрка, — обрадовался он. — Подойди. Только не высуйся, убьют. Почеси кабана.

Нюра присела над кабаном, стала чесать его за ухом.

— Видала, — довольно сказал Чонкин. — А ты боялась.

— А дальше-то что будет? — уныло спросила Нюра.

— А чего дальше? — Чонкин не спускал глаз с лежавших в грязи. — Пуцай лежат, покуда меня не сменят.

— А если тебе на двор надо будет?

— Если на двор... — Чонкин задумался. Но тут же нашел выход из положения. — Тогда ты посторожишь.

— А когда стемнеет? — спросила Нюра.

— И когда стемнеет, будем стеречь.

— Глупой, — вздохнула Нюра. — Они же серые. Их и сейчас в грязи не видать. А когда стемнеет и вовсе.

— Ну вот еще каркаешь тут под руку, — рассердился он на Нюру по свойственной человеку привычке направлять свой гнев на тех, кто говорит неприятную правду, как будто, если не говорить, сама правда от этого станет лучше. Но все же Чонкин задумался, стал перебирать в уме возможные варианты. И придумал.

— Нюрка, — сказал он, повеселев. — Вали в избу, возьми сумку и веревку подлиннее. Поняла?

— Нет, — сказала Нюра.

— Опосля поймешь. Вали.

22

Вскоре желающие могли видеть такую картину. Из своей избы вышла Нюра с длинной веревкой и с почтальонской брезентовой сумкой. Она зашла сзади лежавших на дороге людей и дала Чонкину знак рукой.

— Эй, вы! — кричал Чонкин из-за своего укрытия. — Сейчас к вам подойдет Нюрка, сдайте ей левольверы. Кто будет противиться, убью на месте. Понятно?

Ему никто не ответил. Нюра привыкла чистить рыбу с головы. Сначала она подошла к лейтенанту.

— Отойди, сука, застрелю, — прошипел лейтенант, не поднимая головы.

Нюра остановилась.

— Ваня! — кричала она.

— Чего?

— Он обзывается.

— А ну отойди в сторонку! — Чонкин навел ствол на лейтенанта и прищурил левый глаз.

— Эй, не стреляй! Я пошутил! Вот мой пистолет.

Высоко, чтобы Чонкин видел, лейтенант перебрал пистолет через себя, и он плюхнулся к ногам Нюры. Нюра очистила его от грязи и бросила в сумку.

— А ты, дядя, чего ждешь? — перешла Нюра к Свинцову, который лежал в такой позе, как будто хотел обнять всю землю.

— А я, милая, не жду, — со стоном сказал Свинцов. — Вот он лежит. — Действительно, его револьвер системы «наган» лежал в стороне от хозяина на подсыхающей кочке. Нюра кинула его тоже в сумку.

— Ой! — простонал Свинцов. — Ой, не могу!

— Раненый, что ли? — обеспокоилась Нюра.

— Раненый, милая. Мне перевязочку бы. Кровью ведь изойду. Детишек у меня трое. На кого оставляю?

— Сейчас, сейчас, потерпи еще,— заторопилась Нюра. Хотя Свинцов был на вид чистый зверь, но у нормального человека даже зверь вызывает жалость, если страдает.

Дальше все пошло как по маслу. Остальные члены приезжей команды, видя добрый пример старших по званию, беспрекословно подчинились и сдали оружие. Они даже не стали сопротивляться, когда Нюра связывала их общей веревкой, наподобие того, как связываются альпинисты перед трудным подъемом.

23

Дело шло к концу рабочего дня. От наряда, посланного на поимку дезертира, не было ни слуху ни духу, и капитан Миляга начал нервничать. Секретарша Капа битых два часа просидела на телефоне, извела телефонисток на станции, но в Красном никто не снимал трубку.

— Ну что? — то и дело высовывался из кабинета начальник.

Капа виновато пожимала своими хрупкими плечиками, словно из-за нее получилась такая история, и снова терпеливо крутила ручку телефонного аппарата.

За десять минут до конца работы Капа стала приводить в порядок прическу, не зная, стоит ли это делать. Если начальник позовет к себе, то все равно растреплет. Но сегодня, наверное, не позовет, куда-то запропастились эти гаврики во главе с лейтенантом Филипповым, и начальнику явно не до нее. Ровно в восемнадцать часов над дверью раздался резкий звонок. Капа подхватилась и, вихляя задом чуть больше, чем в обычное время, вошла к капитану, цвета ему навстречу неофициальной улыбкой.

Капитан, улыбаясь в ответ, предложил ей прогуляться в деревню Красное, потому что из сотрудников никого кроме нее не осталось, а он в данный момент покинуть учреждение не может.

— Если хочешь, тут лошадь какая-то прибилась — возьми,— сказал капитан.

— Я ездить верхом не умею,— робко сказала Капа.

— Ну тогда так пробегись. Ты молодая, тебе семь километров не криук.

— Да что вы, Афанасий Петрович! — обиделась Капа.— Куда я побегу по такой грязище?

— Ничего, наденешь резиновые сапоги,— сказал капитан.— Тебе и идти-то только в одну сторону, а обратно вместе со всеми на машине приедешь. Да я думаю, ты их вообще встретишь на полдороге.

Капа пробовала еще возражать, но капитан ледяно улыбнулся и, назвав ее по фамилии (это был признак крайнего раздражения), как дважды два объяснил Капе, что хотя она и является вольнонаемной, но служба в военном учреждении в военное время обязывает ее выполнять приказания беспрекословно, точно и в срок, о чем она давала подписку, нанимаясь на эту работу.

Трясушимися губами Капа сказала «есть!» и с плачем вылетела из кабинета. Она побежала домой за резиновыми сапогами и по дороге клялась самыми страшными клятвами, что никакие уговоры и никакие угрозы (вплоть до увольнения) не заставят ее больше лечь с этим бессердечным человеком на этот кошмарный ободранный и продавленный, заляпанный чернилами служебный диван. Однако приказания ей выполнить не удалось. Ее муж, директор местного молокозавода, давно подозревавший жену в том, что она ему изменяет, устроил ей сцену ревности и запер в чулане.

Солнце клонилось к горизонту, когда капитан Миляга, не дождавшись возвращения своих подчинен-

ных и никаких известий от Капы, запер вверенное ему Учреждение на большой висячий замок, оседлал приبلудную лошадь и верхом отправился вслед за пропавшей командой.

24

По подсохшей к концу дня дороге лошадь быстро несла капитана Милягу вперед в неизвестность. Временами она от избытка энергии переходила на рысь, но капитан ее сдерживал, желая продлить неожиданную прогулку. Настроение Миляги улучшилось. Он беспечно поглядывал по сторонам, воспринимая затемненную сумерками местность как что-то особенное. «Эх,— думал он,— до чего все же наша природа красива! В какой еще стране найдешь такие сосны, березки и прочее?» Ни в какой другой стране Миляга в жизни своей не бывал, но по врожденному патриотизму был убежден, что достойная внимания растительность там вовсе не водится. «Хорошо! — радовался он, наполняя воздухом прокуренные легкие.— Думается, процент содержания кислорода здесь больше, чем в кабинете». Последнее время Миляга проводил в кабинете дни и ночи, принося посильный вред себе и отечеству. Правда, особо ретивым не был он никогда. И давал постоянно средние показатели, понимая, что на невидимом фронте ударником быть так же опасно, как отстающим. В жизни работника той службы, к которой принадлежал капитан, бывают тревожные моменты, когда торжествует Законность. За время своей карьеры Афанасию Миляге дважды пришлось пережить подобную неприятность. Оба раза шерстили всех сверху донизу, но Миляге удалось уцелеть и даже продвинуться по службе от старшего надзирателя до начальника районного отдела. Это позволяло ему смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом, с надеждой уцелеть, когда в очередной раз восторжествует Законность.

Размышляя таким образом, не заметил он, как стемнело, и уже в полной темноте въехал в Красное. Остановившись у крайней избы, капитан услышал за калиткой строгий женский голос:

— Борька, шут тебя подери, ты пойдешь домой или нет, или хочешь, чтобы я тебя хвостотиной огрела.

В ответ послышалось веселое хрюканье, из чего капитан по свойственной ему привычке анализировать и сопоставлять всевозможные факты догадался, что Борька не человек.

— Девушка,— сказал капитан в темноту,— не знаешь, где тут наши работники?

— Какие работники?

— Сама знаешь,— стыдливо сказал Миляга.

За калиткой помолчали, потом тот же женский голос осторожно спросил:

— А вы кто такой будете?

— Много будешь знать, скоро состаришься,— шутил капитан.

— Здесь они все, в избе,— подумав, нерешительно сказала девушка.

— Можно зайти? — спросил он.

Девушка поколебалась и опять ответила неуверенно:

— Заходите.

Он ловко соскочил на землю, привязал лошадь к забору и прошел в калитку. Женщина, молодая (как он успел заметить даже в темноте), напоследок обозвав невидимого Борьку паразитом, открыла дверь и пропустила капитана вперед.

Он прошел темными сенями, задев какие-то гремящие вещи, потом по коридору, шаря рукой по стене.

— Дверь справа,— сказала девушка.

Нашупав ручку, он вошел в какую-то комнату и зажмурил глаза — на столе горела двенадцатилинейная лампа. Привыкнув немного к свету, он увидел своих подчиненных в полном сборе в количестве семи человек. Пятеро из них сидели на лавке вдоль стены. Лейтенант Филиппов, подложив под щеку кулак, спал на полу, а седьмой — Свинцов — лежал кверху задом на кровати и тихо стонал. Посреди комнаты на табуретке сидел боец с голубыми петлицами и держал в руках винтовку с примкнутым штыком. Увидев вошедшего, боец сразу повернулся и направил винтовку на него.

— Что здесь происходит? — строго спросил капитан.

— Не кричи, — сказал боец, — раненого разбудишь.

— Ты кто такой? — закричал Миляга, хватаясь за кобуру.

Тогда боец вскочил с табуретки и приблизил штык к животу капитана.

— Руки вверх!

— Я тебе сейчас дам руки вверх, — улыбнулся капитан, пытаясь расстегнуть кобуру.

— Я ведь пырну, — предупредил красноармеец.

Встретившись с его беспощадным взглядом, капитан понял, что дело плохо, и медленно поднял руки.

— Нюрка, — сказал боец девушке, все еще стоявшей возле дверей, — забери у него револьвер и брось в кошелку.

25

Прошло несколько дней с тех пор, как исчезло ведомство капитана Миляги, но в районе никто этого не заметил. И ведь пропала не иголка в сене, а солидное Учреждение, занимавшее в ряду других учреждений весьма заметное место. Такое учреждение, что без него вроде и шагу ступить нельзя. А вот пропало и все, и никто даже не ойкнул. Люди жили, работали, рождались и умирали, и все это без ведома соответствующих органов, а так, самотеком.

Это безобразие продолжалось бы неизвестно доколе, если бы первый секретарь райкома товарищ Ревкин постепенно не стал ощущать, что вокруг него как будто не хватает чего-то. Это странное ощущение постепенно в нем укреплялось, оно сидело в нем, как заноза, и напоминало о себе везде, где бы Ревкин ни находился — на бюро райкома, на совещании передовиков, на сессии райсовета и даже дома. Не сумев разобраться в своем состоянии, он потерял аппетит, стал рассеян и однажды дошел до того, что надел кальсоны поверх галифе и в таком виде пытался отправиться на работу, но персональный шофер Мотя его тактично остановила.

И вот как-то ночью, когда он лежал, смотрел в потолок, вздыхал и курил папиросу за папиросой, жена Аглая, лежавшая рядом, спросила его:

— Что с тобой, Андрей?

Он думал, что она спит, и подавился дымом от неожиданного вопроса.

— В каком смысле? — спросил он, откашлявшись.

— Ты в последние дни стал какой-то нервный, спал с лица, ничего не ешь и все время куришь. У тебя неприятности на работе?

— Нет, — сказал он, — все в порядке.

— Ты здоров?

— Абсолютно.

Помолчали.

— Андрей, — волнуясь, сказала жена, — скажи мне как коммунист коммунисту: может быть, у тебя нездоровые настроения?

С Аглаей он познакомился больше десяти лет назад, когда оба они проводили коллективизацию. Аглая, тогда еще двадцатипятилетняя комсомолка

с пылающим взором, покорила Ревкина тем, что дни и ночи проводила в седле, лихо носясь по району, выискивая и разоблачая кулаков и вредителей. Ее маленькое, но крепкое сердце не знало пощады к врагам, которых тогда в большом количестве отправляли в холодные земли. Она не всегда понимала гуманную линию партии, не разрешавшей уничтожать всех на месте. Теперь Аглая заведовала детским домом.

Услышав заданный ему вопрос, Ревкин задумался. Он погасил одну папиросу и закурил вторую.

— Да, Глаша, — сказал он, подумав, — ты, кажется, права. У меня действительно нездоровые настроения.

Опять помолчали.

— Андрей, — тихо и непреклонно сказала Аглая, — если ты сам в себе чувствуешь нездоровые настроения, ты должен разоружиться перед партией.

— Да, должен, — согласился Андрей. — Но что будет с нашим сыном? Ведь ему только семь лет.

— Не беспокойся. Я воспитаю его настоящим большевиком. Он забудет даже, как тебя звали.

Она помогла мужу собрать чемодан, но провести в одной постели остаток ночи отказалась по идейным соображениям.

Утром, когда пришла машина, Ревкин приказал шоферу Моте отвезти его Куда Надо, потому что пешком он последнее время не ходил и не смог бы найти дорогу.

К его немалому удивлению, Где Надо Кого Надо не оказалось. Не было ни часовых, ни дежурных, и на больших зеленых воротах висел массивный замок. Ревкин стучал в дверь и в ворота, пытался заглянуть в окна первого этажа — никого не было видно.

«Странно, — подумал Ревкин. — Как это может быть, чтобы в таком Учреждении никого не было?»

— А здесь уже с неделю, наверное, как замок висит, — сказала Мотя, словно угадав его мысли. — Может, их давно разогнали.

— Не разогнали, а ликвидировали, — строго поправил Ревкин и приказал ехать в райком.

По дороге он думал, что в самом деле исчезновение такого серьезного Учреждения нельзя объяснить ничем, кроме как ликвидацией. Но если это так, то почему никто не поставил его в известность? И вообще можно ли ликвидировать, да еще в военное время, организацию, при помощи которой государство охраняет себя от внутренних врагов? И не объясняется ли исчезновение происками этих самых врагов, которые теперь наверняка активизировали свою деятельность?

Запершись в своем кабинете, Ревкин обзвонил ряд соседних районов и путем осторожных расспросов выяснил, что повсюду те, Кто Надо, по-прежнему имеются и вполне активно функционируют. От этого известия легче не стало. Положение теперь казалось еще более запутанным. Необходимо было организовать срочное расследование.

Ревкин снял трубку и попросил соединить его с капитаном Милягой.

— Не отвечает, — сказала телефонистка, и только тогда Ревкин понял всю нелепость этого звонка. Ведь если бы Миляга существовал, ему незачем было звонить. Но, с другой стороны, кто может разбираться в сложном деле исчезновения всех, Кого Надо, если именно те, Кому Надо, и должны заниматься, такими делами?

«Надо подать проект, — подумал секретарь, — чтобы в каждом районе было два Учреждения. Тогда первое будет выполнять свои функции, а второе будет наблюдать, чтобы не пропало первое».

Ревкин отметил эту мысль на листке настольного календаря, но тут же явилась следующая: «А кто же будет наблюдать за другим Учреждением? Значит,

нужно создать третье. а за третьим — четвертое и так далее до бесконечности, но кто же тогда будет заниматься другими делами?» Получался какой-то заколдованный круг.

Однако размышлять долго некогда, надо действовать.

Ревкин послал шофера Мотю на рынок послушать, что говорят бабы. Мотя вскоре вернулась и сообщила, что бабы говорят, будто Учреждение в полном составе выехало в деревню Красное арестовывать какого-то дезертира. Нить была найдена. Теперь Ревкин снова чувствовал себя на своем месте, и непонятное ощущение исчезло, словно заноза, вынутая пинцетом.

Ревкин позвонил в Красное. К телефону подошел председатель Голубев (ожил, оказывается). На вопрос Ревкина, где находится выехавшая в Красное команда, Голубев сказал:

— А их Чонкин арестовал со своей бабой.

Слышимость, конечно, была плохая. Да и трудно было себе представить, чтобы какой-то Чонкин с какой-то бабой могли арестовать сразу всех, Кого Надо. То есть не надо. Ревкину показалось, что Голубев сказал не «с бабой», а «с бандой».

— И большая у него банда? — поинтересовался он.

— Да как сказать... — замылся Голубев, вызывая в своем воображении образ Нюры... — вообще-то порядочная.

Не успел еще Ревкин положить телефонную трубку, как уже поползли по району черные слухи. Говорили, что в округе орудует банда Чонкина. Она многочисленна и хорошо вооружена.

По поводу личности самого Чонкина толки были самые противоречивые. Одни говорили, что Чонкин — это уголовник, бежавший из тюрьмы вместе со своими товарищами. Другие спорили, что Чонкин — белый генерал, который последнее время жил в Китае, а теперь вот напал на Советский Союз, собирает он несметное войско, и к нему отовсюду стекаются люди, обиженные Советской властью.

Третьи опровергали две предыдущие версии, утверждая, что под фамилией «Чонкин» скрывается сам Сталин, бежавший от немцев. Рассказывали, что его охрана состоит исключительно из лиц грузинской национальности, а баба у него русская, из простых. Еще рассказывали, что Сталин, увидя, какие порядки творятся в районе, пришел в сильное негодование. Он вызывает к себе всевозможных начальников и сурово наказывает их за вредительство. В частности, арестовал и приказал тут же расстрелять полностью личный состав всех, Кого Надо, во главе с самим капитаном Милягой.

Циля Сталина принесла эту новость из очереди за керосином.

— Мойша, ты слышал? — сказала она мужу, который у окна заколачивал гвозди в подметку. — Люди говорят, что какой-то Чонкин расстрелял твоего знакомого гоя.

— Да, я слышал, — вынув изо рта гвозди, сказал Моисей Соломонович. — Это был интересный молодой человек, и мне его очень жаль.

Циля пошла разжигать керосинку, но тут же вернулась.

— Мойша, — сказала она взволнованно, — а как ты думаешь, этот Чонкин еврей?

Моисей Соломонович отложил молоток.

— Чонкин? — повторил он удивленно. — Мне кажется, это ихняя фамилия.

— Чонкин? — Циля посмотрела на мужа, как на глупого человека. — Ха! Он будет мне еще говорить! А как же тогда Ривкин и Зускин?

Возвратясь к керосинке, она сама себе на разные

лады повторяла фамилию «Чонкин» и в сомнении качала седой своей головой.

Чтобы как-то нейтрализовать зловещие слухи, местная газета «Большевистские темпы» в разделе «Занимательная информация» поместила ряд любопытных сведений. Было рассказано, например, о тритоне, пролежавшем пять тысяч лет в замороженном виде и ожившем после того, как его отогрели; о том, что некий народный умелец, слесарь из города Чебоксары, вычарапал на пшеничном зерне полный текст статьи Горького «С кем вы, мастера культуры?». Но поскольку слухи продолжали распространяться, газета, стремясь направить умы по иному руслу, открыла на своих страницах дискуссию: «Правила хорошего тона — нужны ли они?». В статье под таким заголовком лектор райкома Неужелев писал, что всемирно-историческая победа Октябрьской революции принесла народам нашей необъятной страны не только освобождение от власти капиталистов и помещиков, но и отвергла прежние нормы морали и нравственности, заменив их новыми, отражающими коренные перемены, происшедшие в общественных отношениях. Новые нормы прежде всего отличаются четким классовым подходом. Общество победившего социализма, писал лектор, не приемлет буржуазные правила хорошего тона, в которых проявились принципы господства одних людей над другими. Навсегда исчезли из обращения «господин», «милостивый государь», «слуга покорный» и прочие. Слово «товарищ», с которым мы обращаемся друг к другу, свидетельствует не только о равенстве между собой различных групп населения, но и о равенстве мужчин и женщин. Вместе с тем мы отвергаем и проявления нигилизма в области отношений трудящихся между собой. Неужелев утверждал, что, несмотря на новые принципы, некоторые традиционные нормы поведения должны быть сохранены и в нашем социалистическом обществе. Например, в общественном транспорте (которого, к слову сказать, в Долгове отродясь не бывало) необходимо уступать место инвалидам, людям преклонного возраста, беременным женщинам и женщинам с детьми. Мужчина должен первым здороваться с женщиной, но не подавать первым руку, пропускать женщину вперед и снимать головной убор, находясь в помещении. Конечно, необязательно целовать дамам ручки, но проявлять внимание и чуткость к товарищам по производству и просто к соседям необходимо. В связи с этим совершенно неприемлимы такие пережитки прошлого, как взаимная грубость или цензурная брань. Недопустимо также играть на музыкальных инструментах после двадцати трех часов. Приведя ряд отрицательных примеров, автор заканчивал статью мыслью, что взаимная вежливость является основой хорошего настроения, от которого в конечном итоге зависит производительность нашего труда. А поскольку от нашей работы в тылу зависит победа на фронте, решающий вывод напрашивался сам собой.

На некоторых статья произвела сильное впечатление.

Между прочим, в то время в городе Долгове среди прочих проживали два весьма заметных гражданина. За давностью лет никто уже не помнит их имен, званий и должностей. Старожилы рассказывают, что это были два чудачковатых субъекта, которые летом в соломенных шляпах, а зимой в серых папахах встречались на площади Коллективизации и не спеша прогуливались по улице Поперечно-Почтамтской от площади до колхозного рынка и обратно. Во время прогулок они вели беседы шепотом и с оглядкой на самые актуальные темы. То, что они в разгар военных

действий находились в Долгове, а не в действующей армии, заставляет предположить, что они были непризывного возраста.

Вечером того дня, когда вышла газета со статьей Неужелева, эти мыслители, встретившись, как обычно, на площади, приветствовали друг друга легким поднятием шляп.

— Ну что вы на это скажете? — с места в карьер спросил Первый Мыслитель и тут же крутнул головой налево, направо, назад и опять налево, направо, чтобы убедиться, что никто не следит и не подслушивает.

Второй Мыслитель не стал спрашивать, на что на это. В результате постоянных общений они научились понимать друг друга с полуслова. Второй Мыслитель тоже совершил как бы ритуальное вращение головой налево, направо, назад и сказал:

— Ах, бросьте! Надо же им чем-то заполнять газетную площадь.

— Вы так думаете? — хитро прищурился Первый. — Что же им больше не о чем писать? Немцы захватили Прибалтику, Белоруссию, Украину, стоят возле Москвы, в районе тоже полная неразбериха: урожай не убран, скотина без корма, где-то орудует банда какого-то Чонкина, а районной газете не о чем больше писать, как о хороших манерах?

— Бросьте, — повторил Второй Мыслитель. — Какому-то лектору взбрело в голову...

— Вот тут-то вы и ошибаетесь! — радостно взвизнул Первый Мыслитель. Это была его коронная фраза. В каждом споре со своим собеседником он с замиранием сердца ждал именно такого момента, чтобы сказать: «Вот тут-то вы и ошибаетесь!»

— Ни в чем я не ошибаюсь, — недовольно проворчал его собеседник.

— Уверю вас, ошибаетесь. Поверьте мне, я хорошо знаю эту систему. У них никому ничего не взбрет в голову без указания свыше. Здесь все сложнее и проще. Они наконец-то поняли, — Первый Мыслитель крутнул головой и понизил голос, — что без возврата к грежним ценностям мы проиграем войну.

— Из-за того, что не целуем дамам ручки?

— Да-да! — вскричал Первый Мыслитель. — Именно из-за этого. Вы не понимаете элементарных вещей. Сейчас идет война не между двумя системами, а между двумя цивилизациями. Выживет та, которая окажется выше.

— Ну, знаете! — развел руками Второй Мыслитель. — Это уж слишком. Когда-то гунны...

— Что вы мне говорите про гуннов? Вспомните Македонского!..

И тут пошло! Гунны, Александр Македонский, война с филистимлянами, крестовые походы, переход через Альпы, битва при Марafone, штурм Измаила, прорыв линии Мажино...

— Вы не понимаете! — размахивал руками Первый Мыслитель. — Между Верденом и Аустерлицем большая разница!

— А что вы мне со своим Аустерлицем? Вы возьмите Трафальгар!

— Заберите его себе!

Так по дороге от площади до рынка и обратно они проспорили несколько часов подряд, размахивая руками, останавливаясь, понижая и вновь повышая голос. К единому мнению они не пришли, но зато подышали воздухом, что, как известно, приносит организму большую пользу. Разойдясь далеко за полночь, оба потом долго не спали, перебирая в памяти подробности разговора, и каждый при этом думал: «А вот завтра я ему скажу...»

Достаточно сильное впечатление статья о хороших манерах произвела и на других жителей города. Старая учительница в полемической заметке «А почему бы и нет?», отдавая должное классовому подходу,

утверждала тем не менее, что целовать руки дамам не только можно, но и нужно. «Это, — писала она, — красиво, элегантно, по-рыцарски». А рыцарство, по ее словам, является неотъемлемой чертой каждого советского человека. С резкой отповедью учительнице в заметке «Еще чего захотели!» выступил знатный забойщик скота Терентий Кныш. Для чего же, писал он, рабочему человеку целовать руки какой-то даме? А что если у ней руки не мыты, или того хуже — чесотка? «Нет уж, извините, — писал Кныш, — скажу вам с рабочей прямоотой: если у вас нет справки от доктора, я целовать вам руки не буду». Местный же поэт Серафим Бутылко разразился длинным стихотворением «Я коммунизма ясно вижу дали», не имевшим, впрочем, прямого отношения к теме дискуссии.

Подводя итоги дискуссии, газета поблагодарила всех, принявших в ней участие, пожурила учительницу и Кныша за крайности и в конце концов заключила, что само существование столь различных точек зрения по данному вопросу свидетельствует о серьезности и своевременности поставленной Неужелевым проблемы, что от нее нельзя отмахиваться, но и решить ее тоже непросто.

Пока газета отвлекала население, руководители района, перебрав все возможные версии, пришли к выводу, что Чонкин скорее всего командир немецких парашютистов, которые высадились в районе, чтобы дезорганизовать работу тыла и подготовить наступление войск на данном участке.

Не зная, что делать, районное начальство кинулось в область, область, в свою очередь, обратилась к военным властям. На ликвидацию банды Чонкина (так называемого Чонкина, говорилось в секретных документах) была брошена снятая с отправлявшегося на фронт эшелона стрелковая часть.

Стушались серые сумерки, когда полк, соблюдая все правила маскировки, подошел к деревне Красное и окружил ее. Два батальона перекрыли с двух сторон дорогу, третий окопался вдоль огорода (с четвертой стороны была естественная преграда — речка Тепа).

Выслали двух разведчиков.

26

Арестовать даже весь личный состав районного Учреждения было для Чонкина делом несложным. Основные трудности возникли потом. Известно, что каждый человек время от времени имеет обыкновенные спазмы. Во время сна он теряет бдительность, и этим могут воспользоваться те, кому выгодно.

Нюра стала подменять Чонкина на посту, но ей это тоже давалось непросто, потому что обязанностей почтальона с нее никто не снимал. Да и хозяйство оставалось на ней.

Кроме того, выяснилось, что работники Учреждения, как и простые смертные, отправляют естественные потребности по нескольку раз в день. Причем эти самые потребности у них почему-то возникают у каждого в разное время. Еще ничего, когда Нюра на месте. Пока Чонкин водит очередного желающего, Нюра сторожит остальных. Но когда Нюры нет или когда она спит, другие могут сбежать, хотя руки у каждого связаны. Сперва Чонкин выводил всех сразу каждый раз; потом придумал способ иной. Нашел на сеновале старый ошейник, привязал к нему крепкую веревку. Проблема была решена окончательно и бесповоротно. Хочешь по нужде, подставляй шею и будь свободен в пределах длины веревки. Тем более что зимняя уборная находится тут же на скотном дворе, отделенная от основной части избы узеньким коридором. (Потом свидетели показывали, что, как бывало ни заглянешь в окно, всегда видишь одну картину: Чонкин сидит на табуретке возле полу-

57

открытой двери, в одной руке держит оружие, в другой — намотанная на запястье и натянутая веревка.)

Но тут возникла новая трудность. И без того скудный запас Нюриных продуктов резко пошел на убыль. Оказалось, что работники Учреждения и поесть любят не меньше всех остальных групп населения. Нюра поначалу стойко переносила все тяготы и лишения воинской службы, но однажды все же не выдержала.

Однажды в обычное время она вернулась домой. Солнце клонилось к закату, но до вечера было еще далеко. Чонкин с винтовкой в руках сидел, как всегда, на табуретке возле двери, прислонившись спиной к косяку и вытянув ноги. Пленники располагались на своем месте в углу. Четверо на полу резались в дурака, пятый ждал очереди, двое спали, разделив подложенный под головы старый Нюрин ватник, восьмой сидел на лавке и тоскливо смотрел в окно, за которым были речка, лес и свобода.

Никто, кроме Чонкина, не обратил на Нюру никакого внимания. Но и Чонкин ничего не сказал ей, а только поднял голову и посмотрел на Нюру долгим сочувственным взглядом. Она молча бросила сумку к порогу и, переступив через вытянутые ноги Чонкина, сунулась в печку, достала чугунок, а в нем всего одна картошина и та в мундире. Нюра повертела эту картошину в руке и, зашвырнув в дальний угол, заплакала. Это тоже никого не удивило, только капитан Миляга, сидевший к Нюре спиной, не желая оборачиваться, спросил Свинцова:

— Что там происходит?

— Баба плачет,— сказал Свинцов, с некоторой даже как будто жалостью глянув на Нюру.

— А чего она плачет?

— Жрать хочет,— хмуро сказал Свинцов.

— Ничего,— сбрасывая бубнового валета, пообещал капитан,— скоро накормим.

— Уж это да.— Свинцов бросил карты и пошел в угол.

— Ты чего? — удивился капитан.

— Хватит,— сказал Свинцов,— наигрался.

Он расстелил на полу шинель, лег на спину и уставился в потолок. Последнее время в дремучей душе Свинцова медленно просыпалось какое-то смутное чувство, которое угнетало его и тревожило.

Чувство это называлось муками совести, которых Свинцов, не испытав ничего похожего прежде, не мог распознать. (Прежде Свинцов относился к человеку, как к дереву: скажут распилить — распилит, не скажут — пальцем не тронет.) Но, проснувшись однажды среди ночи, он вдруг подумал сам про себя: батюшки, да как же так могло получиться, что был Свинцов простым, незлобивым деревенским мужиком, а стал душегубом.

Будь Свинцов образованней, он нашел бы объяснение своей жизни в исторической целесообразности, но он был человек темный, и совесть его, однажды проснувшись, уже не засыпала. Она грызла его и не давала покоя.

Свинцов лежал в углу и смотрел в потолок, а товарищи его продолжали обсуждать Нюру. Едренков сказал:

— Может быть, она боится, что мы, когда освободимся, будем ее пытаться?

— Может быть,— сказал капитан Миляга.— Но напрасно она не верит в нашу гуманность. Мы к женщинам особые методы не применяем. К тем,— добавил он, подумав,— которые не упорствуют в своих заблуждениях.

— Да,— сказал Едренков.— жалко бабу. Если даже не расстреляют, то десятку дадут, не меньше. А в лагере бабе жить трудно. Начальнику дай, надзирателю дай...

— Вот я тебе сейчас как дам чугуном по башке! — рассердившись, сказала Нюра и подняла чугунок.

— А ну-ка поосторожнее! — всполошился лейтенант Филиппов.— Рядовой Чонкин, прикажите ей, пусть поставит кастрюлю на место. Женевская конвенция предусматривает гуманное отношение к военнопленным.

Этот лейтенант был большой законник и все время лез к Чонкину со своей конвенцией, по которой будто бы пленным надо было хорошо поить, кормить, одевать и вежливо обращаться. Чонкин и сам хотел бы жить по нормам этой конвенции, да не знал, к кому обратиться.

— Брось, Нюрка, с ним связываться,— сказал он,— чугунок погнешь. Подержи-ка, а я сейчас.— Он дал Нюре винтовку, а сам сбежал в сени. Вернулся со стаканом молока и куском черной рассыпающейся лепешки, которую днем специально испек из Борькиных отрубей.

Нюра рвала эту лепешку зубами, а слезы текли по ее щекам и падали в молоко.

Чонкин смотрел на нее с жалостью и думал, что надо что-то делать. Мало того, что сам ей сел на шею, а теперь еще и ораву эту всю посадил. Посмотрит она, посмотрит да выгонит вместе с ними на улицу! Куда тогда с ними деваться? Еще сразу, после того как он их арестовал, Чонкин думал, что теперь где-нибудь кто-нибудь из начальства спохватится. Если забыли про рядового бойца, то уж то, что пропала целая районная организация, может, на кого-то подействует, прискачут, чтоб разобраться, что же такое случилось. Нет, дни шли за днями, и все было тихо, спокойно, словно нигде ничего не случилось. Районная газета «Большевицкие темпы», кроме сводки «Совинформбюро», печатала черт-те чего, а о пропавшем Учреждении — ни гу-гу. Из чего Чонкин заключил, что люди имеют обыкновение замечать то, что есть перед их глазами. А того, чего нет, не замечают.

— Нюрка,— сказал Иван, приняв решение,— ты их посторожи покамест, я скоро вернусь.

— Ты куда? — удивилась Нюра.

— После узнаешь.

Он расправил под ремнем гимнастерку, обтер тряпкой ботинки и вышел наружу. В сенях захватил восьмилитровую флягу и двинулся напрямик к бабе Дуне.

27

Председатель Голубев сидел в своем кабинете и с привычной тоской перебирал деловые бумаги. За окном вечерело. От домов, деревьев, заборов, людей и собак тянулись длинные тени, навевая грустные мысли и желание выпить, чего он не делал со вчерашнего дня. Вчера он ездил в район и просился на фронт. Битый час он доказывал рыжей врачихе, что плоскостопие — недостаточный повод, чтоб ошиваться в тылу. Он повышал на нее голос, лстыл и даже пытался соблазнить, без особого, впрочем, энтузиазма. Под конец она начала уже колебаться, но, засунув ему под ребра свои длинные тонкие пальцы, пришла в ужас и схватилась за голову.

— Боже мой! — сказала она.— Да у вас печень в два раза больше, чем нужно. Пьете?

— Бывает иногда,— ответил ей Голубев, отводя глаза в сторону.

— Надо бросить,— решительно сказала она.— Разве можно так наплевательски относиться к собственному здоровью?

— Нельзя,— согласился Голубев.

— Это просто варварство! — продолжала она.

— Да, действительно,— подтвердил Голубев.— Сегодня же брошу.

— Ну ладно,— смягчилась она,— через две недели повторно пройдете комиссию, и, если райком против не будет, эсжайте.

После этого разговора он поехал домой. Против чайной лошади, как обычно, остановилась, но он стегнул ее концами вожжей и поехал дальше. И вот уже полтора дня не пил ни капли.

«Да,— глядя в окно,— думал он удовлетворенно,— что-то, а сила воли у меня все-таки есть». В это время в поле зрения председателя оказался Чонкин. Он шел через площадь к конторе и нес в руках некий обтекаемый предмет, который Иван Тимофеевич сразу опознал опытным взглядом. Это была фляга. Иван Тимофеевич сглотнул слюну и затаился. Чонкин приблизился к конторе и, громко стуча ботинками, поднялся на крыльцо. Председатель поправил на столе бумаги и придал своему лицу официальное выражение. В дверь постучали.

— Да,— сказал председатель и потянулся за папирсой.

Чонкин вошел, поздоровался и остановился, топчась у дверей.

— Проходи, Ваня, вперед,— пригласил председатель, не отрывая взгляда от фляги.— Проходи, садись.

Чонкин нерешительно подошел к столу и сел на самый краешек скрипучего стула.

— Да ты, Ваня, не стесняйся,— поощрил председатель,— садись нормально, на всю жопу, Ваня, садись.

— Ничего, мы и так.— Назвав себя от смущения на «мы», Чонкин поерзал на стуле тем самым местом, на которое столь деликатно указал председатель, но дальше продвигаться все-таки не посмел.

После этого в кабинете установилось долгое и тягостное молчание. Голубев смотрел на посетителя выжидательно, но Чонкин словно язык проглотил. Наконец, он пересилил себя и начал:

— Ты это вот чего...— сказал Чонкин и, покраснев от натуги, замолчал, не зная, как дальше вести разговор.

— Понятно,— сказал председатель, не дождавшись продолжения.— Ты, Ваня, не волнуйся, а выкладывай по порядку, зачем пришел. Курить хочешь? — председатель пододвинул к нему папиросы «Казбек» («Дели» давно не курил).

— Не хочу,— сказал Чонкин, но папиросу взял. Он поджег ее со стороны мундштука, бросил на пол и растоптал каблуком.

— Ты это вот чего...— начал опять Чонкин и вдруг решительно, со стуком поставил флягу перед Голубевым.— Пить будешь?

Председатель посмотрел на флягу и облизнулся. Недоверчиво посмотрел на Чонкина.

— А ты это по-товарищески или в виде взятки?

— В виде взятки,— подтвердил Чонкин.

— Тогда не надо.— Иван Тимофеевич осторожно подвинул флягу назад к Чонкину.

— Ну, не надо,— так не надо,— легко согласился Чонкин, взял флягу и поднялся.

— Погоди,— забеспокоился председатель.— А вдруг у тебя такое дело, что его можно решить и так. Тогда выпить мы сможем не в виде взятки, а по-товарищески. Как ты считаешь?

Чонкин поставил флягу на стол и подвинул к председателю.

— Пей,— сказал он.

— А ты?

— Нальешь, и я выпью.

Спустя полчаса, когда содержимое фляги резко уменьшилось, Голубев и Чонкин были уже закадыч-

ными друзьями, курили папиросы «Казбек», и председатель задушевно жаловался на свои обстоятельства.

— Раньше, Ваня, было трудно,— говорил он,— а теперь и подавно. Мужиков забрали на фронт. Остались одни бабы. Конечно, баба тоже большая сила, особенно в условиях нашей системы, однако у меня вот молотобойца на фронт забрали, а баба молот большой не подымет. Я тебе про здоровую бабу толкую, а здоровых баб в деревне не бывает. Эта беременная, другая кормящая мать, третья, хоть дождь, хоть ведро, за поясницу держится: «Ломит, говорит,— на погоду».— А вышестоящее руководство в положение не входит. Требуют — все для фронта, все для победы. Приедут — и матом кроют. По телефону звонят — матом. И Борисов матом, и Ревкин матом. А из обкома позвонят, тоже слова без мата сказать не могут. Вот я и спрашиваю тебя, Ваня, как дальше жить? Почему я и прошу отправить меня хоть на фронт, хоть в тюрьму, хоть к черту в зубы, только б освободиться от этого колхоза, пусть им занимается кто другой, а с меня хватит. Но, если правду тебе сказать, Ваня, очень хочется под конец подправить немножко дела в колхозе, чтоб хоть кто-нибудь добром тебя вспомнил, а вот не выходит.

Председатель безнадежно тряхнул головой и одним глотком принял в себя полстакана самогона. Чонкин сделал то же самое. Сейчас разговор дошел до самой выгодной для Чонкина точки. Надо было не упускать момента.

— Если у тебя такое несчастье,— небрежно сказал Чонкин,— могу помочь.

— Да как ты мне можешь помочь?

— Могу,— стоял на своем Чонкин, наполняя стаканы.— На-ка вот, хлебани.— Хошь, завтра утром выгоню на поле своих арестантов, они тебе весь твой колхоз перекопают.

Председатель задрогнул. Подвинул свой стакан ближе к Чонкину, сам отодвинулся. Встряхнул головой и уставился на Чонкина долгим немигающим взглядом. Чонкин улыбнулся.

— Ты что? — испуганным голосом сказал Голубев.— Ты что это надумал?

— Как хотишь,— Чонкин пожал плечами.— Я хотел, как тебе лучше. Ты поглядел бы, какие морды. Да их, если как положено заставить работать, они тебе горы свернут.

— Нет, Ваня,— грустно сказал председатель,— не могу я на это пойти. Скажу тебе как коммунист, я их боюсь.

— Господи, да чего ж их бояться? — всплеснул руками Чонкин.— Ты только дай мне поле ровное, чтоб я разом всех видел и мог сторожить. Да, если не хотишь, я с ими в любой другой колхоз пойду. Нас сейчас каждый примет, да еще и спасибо скажет. Ведь я от тебя никаких трудней не прошу, а только ормежку три раза в день, и все.

Первый испуг прошел. Голубев задумался. Вообще-то говоря, предложение было заманчиво, но председатель все еще колебался.

— Классики марксизма,— сказал он неуверенно,— говорят, что от рабского труда большой выгоды нет. Но если сказать по совести, Ваня, нам и от малой выгоды отмахиваться не приходится. А потому давай-ка выпьем еще.

Некоторое время спустя Чонкин вышел от председателя, слегка покачиваясь от водки и хорошего настроения. В левом кармане его гимнастерки лежал клочок бумаги, на котором пьяным неровным почерком было написано: «Бригадиру тов. Шикалову! Принять на временную работу звено тов. Чонкина. Оформить в качестве шэфов». В том же кармане лежала и другая бумажка — распоряжение о выдаче звену Чонкина в виде аванса продуктов на неделю вперед.

Проснувшись на другое утро с больной головой, Иван Тимофеевич Голубев смутно припомнил отдельные подробности вчерашнего вечера и сам себе не поверил. «Этого не может быть,— сказал он себе самому.— Я человек, конечно, пропащий, но такого сделать не мог, это мне просто приснилось или примерщилось спяну».

Но, как бы то ни было, на работу он все же не вышел, сказавшись больным, и послал в контору жену выведать, что происходит. Жена вскоре вернулась и передала слова Шикалова, что все идет, как было намечено, и звену Чонкина выделен фронт работ. Председатель мысленно застонал, но сообщение было передано в такой форме, что показалось ему вполне естественным (а почему бы и нет?). В конце концов он несколько успокоился, оделся, позавтракал, пошел в конюшню, взял лошадь и верхом отправился посмотреть, что происходит. Звено Чонкина (председатель именно так его и называл) в полном составе трудилось на большом картофельном поле. Четверо копали картошку, двое нагружали мешки, и еще двое (капитан Миляга и лейтенант Филиппов) оттащивали мешки к дороге и здесь опорожняли. Чонкин с винтовкой на коленях преспокойно сидел на брошенной возле дороги старой саялке и лениво наблюдал за работой, время от времени встряхивая маленькой своей головой, чтобы не заснуть.

Увидев председателя, Чонкин приветливо помахал рукой, но Иван Тимофеевич проехал мимо, словно не заметив вокруг себя ничего.

29

Труд облагораживает человека. Правда, смотря какого. Пленники Чонкина восприняли свою новую долю по-разному. Некоторые равнодушно, считая, что всякая работа хороша. Некоторые даже были рады: проводить время на воздухе все же приятнее, чем в душной, набитой клопами избе. Лейтенант Филиппов переносил лишения стойко, но ратовал против нарушения Чонкиных международных законов обращения с военнопленными (командный состав, говорил лейтенант, нельзя занимать на физических работах).

Самое неожиданное действие произвела перемена положения на Свиноца. Неожиданно дорвавшись до простого, знакомого ему с детства крестьянского труда, он вдруг почувствовал неизъяснимое наслаждение. Работал он больше всех, работал до изнеможения. Он копал картошку, насыпал в мешки, оттащивал к дороге и не мог насытиться, истязая себя. После ужина стелил на полу шинель и спал, как убитый, но утром вскакивал раньше всех и нетерпеливо ждал нового выхода в поле.

Капитан Миляга первое время был даже доволен таким оборотом дела: уж теперь-то Чонкин на все сто процентов заработал себе самую настоящую вышку. В своих мечтах капитан часто представлял себе, как он с пристрастием будет допрашивать Чонкина, при этом тонкие губы капитана растягивались в мстительной улыбке. Но в последние дни капитан вдруг странно забеспокоился. Он испытывал чувство, похожее на то, которое испытал Чонкин в первый день войны, когда уверился, что он никому не нужен. Но Чонкин никогда не верил особо в свою избранность, чего никак нельзя было сказать о капитане Миляге. И тот факт, что за долгое время никого не прислали за ними на выручку, весьма волновал капитана. Что же могло случиться? Может быть, город Долгов уже занят немцами? Может быть, Учреждение как таковое давно ликвидировано? Может быть, задание использо-

вать Учреждение на трудовом фронте спущено Чонкину свыше? На свои бесконечные «может быть» Миляга искал и не находил ответа. И в один прекрасный день в изобретательной голове капитана возникло решение: надо бежать. Бежать во что бы то ни стало. И капитан стал приглядываться к Чонкину, изучая его привычки и склонности, ибо прежде чем победить врага, нужно его изучить. Капитан наблюдал окружающую местность, но местность была ровная, бежать без риска быть застреленным трудно, а бежать с риском капитан пока не хотел. В голове его зрел иной, смелый по замыслу план.

30

Хотя наука и утверждает, что рабский труд себя не оправдывает, практика использования работников Учреждения в колхозе «Красный колос» показала обратное. В районные организации стали поступать сводки об уборке картофеля, в которых значились такие цифры, что даже Борисов забеспокоился и позвонил Голубеву сказать, чтоб врал да не завирался. На что Голубев ответил, что он государство свое обманывать не намерен и документы отражают только то, что есть на самом деле. Прибывший по поручению Борисова инструктор райкома Чмыхалов вернулся в район с подтверждением, что в сводках отражается сушая правда, сам своими глазами видел бурты картофеля, соответствующие полученным сводкам. Как сообщили ему в колхозе, подобная производительность достигнута за счет полного использования людских резервов. В конце концов в районе поверили и велели газете дать статью, обобщающую опыт передового хозяйства. Хозяйство ставили в пример другим, говорили: «Почему Голубев может, а вы не можете?» Уже и до области докатились вести о колхозе, руководимом председателем Голубевым, уже и в Москве кто-то упомянул Голубева в каком-то докладе.

Вскоре Голубев узнал, что в какой-то голове районного масштаба родилась идея направить рапорт о досрочной уборке картофеля лично товарищу Сталину. Иван Тимофеевич понял, что теперь пропал окончательно, и, пригласив к себе Чонкина, выставил две бутылки чистейшего первача.

— Ну, Ваня,— сказал он почти радостно,— теперь нам с тобой крышка.

— А в чем дело? — поинтересовался Чонкин.

Голубев рассказал. Чонкин почесал в затылке и, сказав, что терять все равно нечего, потребовал у председателя нового фронта работ. Председатель согласился и пообещал перекинуть звено Чонкина на силос. Договор был обмыт, и в сумерках, покидая контору, оба с трудом держались на ногах. На крыльце председатель остановился, чтобы запереть дверь. Чонкин топтался рядом.

— Ты, Ваня, человек очень умный,— пытаюсь нахарить в темноте засов, говорил председатель заплетаящимся языком.— С виду дурак дураком, а приглядеться — ум государственный. Тебе бы не рядовым быть, а ротой командовать. А то и батальоном.

— Да мне хучь дивизией,— хвастливо поддержал Чонкин. Держась одной рукой за перила, он мочился, не сходя с крыльца.

— Ну, насчет дивизии ты малость перехватил.— Оставив попытку найти замок, председатель стал рядом с Чонкиным и тоже начал мочиться.

— Ну, так полком,— сбавил Чонкин, застегиваясь. Тут под его ногами оказалась ступенька, он не заметил и с грохотом покатился с крыльца.

Председатель стоял на крыльце и, держась за пери-

ла, ждал, когда Чонкин подыметься. Чонкин не подымался.

— Иван,— громко сказал Голубев в темноту.

Никакого ответа.

Чтоб не упасть, председатель лег на живот и сполз вперед ногами с крыльца. Потом он ползал на четвереньках, шаря по росистой траве руками, пока не наткнулся на Чонкина. Чонкин лежал на спине, широко раскинув руки, и безмятежно посапывал. Голубев залез на него и лег поперек.

— Иван,— позвал он.

— А? — Чонкин пошевелился.

— Живой? — спросил председатель.

— Не знаю,— сказал Чонкин.— А чего это на мне лежит?

— Должно, я лежу,— сказал Голубев, немного подумав.

— А ты кто?

— Я-то? — Председатель хотел обидеться, но, напрягая память, подумал, что он, собственно говоря, и сам толком не знает, кто он такой. С трудом все-таки вспомнил: — Голубев я, Иван Тимофеевич.

— А чего это на мне лежит?

— Да я ж и лежу.— Голубев начал сердиться.

— А слезть можешь? — поинтересовался Чонкин.

— Слезть? — Голубев попробовал подняться на четвереньки, но руки подогнулись, и он снова рухнул на Чонкина.

— Погоди,— сказал председатель.— Я сейчас буду подыматься, а ты упирайся в меня ногами. Да не в морду суй ноги, мать твою так, а в грудь. Вот.

Наконец Чонкину удалось его все же спихнуть. Теперь они лежали рядом.

— Иван,— позвал Голубев после некоторого молчания.

— А?

— Хрен на. Пойдем, что ли?

— Пойдем.

Иван поднялся на ноги, но продержался недолго, упал.

— А ты вот так иди,— сказал Иван Тимофеевич, снова становясь на четвереньки. Чонкин принял эту же позу, и друзья двинулись в неизвестном направлении.

— Ну как? — через некоторое время спросил председатель.

— Хорошо,— сказал Чонкин.

— Так даже лучше,— убежденно сказал председатель.— Если и упадешь, не расшибешься. Жан-Жак Руссо говорил, что человек должен стать на четвереньки и идти назад, к природе.

— А кто этот Жан-Жак? — спросил Чонкин, с трудом произнося странное имя.

— А хрен его знает,— сказал председатель.— Какой-то француз.

Тут он набрал полную грудь воздуха и запел:

**Вдо-оль деревни от избы и до избы
За-ашагали торопливые столбы...**

Чонкин подхватил:

**Загудели, заиграли провода,
Мы такого не видали никогда...**

— Иван,— спохватился вдруг председатель.

— Чего?

— А контору я закрыл или нет?

— А хрен тебя знает,— беспечно сказал Иван.

— Пошли обратно.

— Пошли.

Идти на четвереньках было хорошо, хотя от росы мерзли немного руки и промокли брюки на коленях.

— Иван!

— А?

— Давай еще споем.

— Давай,— сказал Чонкин и затянул единственную известную ему песню:

**Скакал казак через долину,
Через кавказские края...**

Председатель подхватил:

**Скакал казак через долину,
Через кавказские края...**

Чонкин начал следующий куплет:

Скакал он садиком зеленым...

Но тут ему пришла в голову мысль, которая остановила его.

— Слышь,— спросил он председателя,— а ты не боишься?

— Кого?

— Моих ресторанов.

— А чего мне их бояться? — распоясался председатель.— Я все равно на фронт уйду. Я их...

Тут Иван Тимофеевич употребил глагол несовершенного вида, по которому иностранец, не знающий тонкостей нашего языка, мог бы решить, что председатель Голубев состоял с работниками Учреждения в интимных отношениях.

Чонкин был не иностранец, он понял, что Голубев говорит в переносном смысле. Председатель перечислил еще некоторые государственные, партийные и общественные организации, а также ряд отдельных руководящих товарищей, с которыми в переносном смысле он тоже находился в интимных связях.

— Иван! — вспомнил вдруг председатель.

— А?

— А куда мы идем?

— Кажись, в контору,— неуверенно сказал Иван.

— А где она?

— А хрен ее знает.

— Погоди, мы, кажись, заблудились. Надо определить направление.

Председатель перевернулся на спину и стал искать в небе Полярную звезду.

— На кой она тебе? — спросил Чонкин.

— Не мешай,— сказал Иван Тимофеевич.— Сперва находим Большую Медведицу. А от нее два вершка до Полярной звезды. Где Полярная звезда, там и север.

— А контора на севере? — спросил Чонкин.

— Не мешай.— Председатель лежал на спине. Звезды частично были закрыты тучами, а остальные двоились, троились и четверились, и их все равно было много, и, если судить по ним, север находился по всем направлениям, что председателя вполне устраивало, ибо давало возможность ползти в любую сторону.

Пока он снова становился на четвереньки, Чонкин значительно продвинулся вперед и неожиданно уперся головой во что-то твердое. Пошарил перед собой руками.

Это было колесо машины, вероятно, той, на которой серые приехали его арестовывать. Значит, и контора должна быть рядом. И точно. Обогнув машину, прополз Чонкин еще немного и вскоре наткнулся на стену, туманно белеющую в темноте.

— Тимофеич, кажись, контора,— позвал Чонкин.

Подполз председатель. Провел ладонью по шершавой стене.

— Во, видал,— сказал он удовлетворенно.— А ты еще спрашиваешь, зачем Полярная звезда. Теперь ищи, тут где-то должен быть и засов.

Какое-то время шарили по стене, то натываясь друг на друга, то расползаясь в разные стороны, и вдруг Чонкин первый сообразил:

— Слышь, Тимофеич, а вообще-то засов должен быть там, где дверь, а дверь там, где крыльцо.

Председатель подумал и согласился с доводом Чонкина.

Не для того чтобы посмеяться над пьяным человеком лишний раз, а единственно ради истины следует сообщить, что, даже найдя дверь, Чонкин и председатель долго не могли с ней справиться. Засов, как живой, вырывался из рук и каждый раз больно ударял председателя по колену, так что трезвый давно остался бы совсем без ноги, но пьяного, как известно, все же Бог оберегает немного.

Назад двинулись порознь. Остается загадкой, как Чонкин нашел дорогу домой, остается только предположить, что за время ползания на четвереньках он малость все-таки протрезвел.

Входя в калитку, Чонкин услышал за огородами приглушенный мужской разговор и заметил тлеющий огонек папиросы.

— Эй, кто там? — крикнул Чонкин.

Огонек пропал. Чонкин стоял, напрягая слух и зрение, но теперь ничего не было слышно, ничего не было видно.

«Должно, померещилось спяну», — успокоил себя Чонкин и вошел в избу.

31

Фитиль двенадцатилинейной лампы был прикручен почти до конца, только маленький язычок пламени распространял свой немогущий свет по комнате.

Нюра с винтовкой, зажатой между коленями, сидела на табуретке возле двери. Пленники, намаявшись за день, спали вповалку на полу.

— И где был? — спросила Нюра сердито, но шепотом, чтобы не разбудить спящих.

— Где был, там меня нет, — ответил Чонкин и ухватился за косяк, чтоб не упасть.

— Ай назюзился? — ахнула Нюра.

— Назюзился, — глупо улыбаясь, кивнул Чонкин. — Как же не назюзиться. Завтра, Нюрка, кидают нас на новый участок.

— Да что ты! — сказала Нюра.

Двумя пальцами свободной руки Чонкин вытащил из кармана гимнастерки записку председателя о дополнительной выдаче продуктов и протянул Нюре. Нюра поднесла записку к лампе и, шевеля губами, вдумалась в содержание.

— Ложись, отдохни маленько, а то ведь не спамши, — сказала она, придавая голосу своему ласковую интонацию.

Чонкин в ответ похлопал ее по спине.

— Ладно уж, ты поспи, а к утру на часок подменишь меня.

Он взял у Нюры винтовку, сел на табуретку, прислонился спиной к косяку. Нюра, не раздеваясь, легла лицом к стене и вскоре заснула. Было тихо. Только лейтенант повизгивал во сне, как щенок, и громко чмокал губами. Серая моль кружилась над лампой, то тычась в стекло, то отлетая. Было душно, влажно, и вскоре за окном посыпался, зашуршал по листьям, по крыше дождь.

Чтобы не заснуть, Чонкин пошел в угол к ведру, зачерпнул прямо ладонью воды и смочил лицо. Как будто полегло. Но только уселся на прежнее место, как снова стало клонить в сон. Он зажимал винтовку коленями и руками, но пальцы сами собой разжимались, и приходилось прилагать героические усилия, чтобы не свалиться с табуретки. Несколько раз спохватываясь он в последнее мгновение и бдительно таращил глаза, но все было тихо, спокойно, только дождь шуршал за окном и где-то под потолком настойчиво грызла дерево мышь.

Наконец Чонкин устал бороться сам с собой, загородил дверь столом, положил на него голову и забыл-

ся. Но спал беспокойно. Ему снились Кузьма Гладышев, председатель Голубев, Большая Медведица и пьяный Жан-Жак Руссо, который от бабы Дуни полз задом на четвереньках. Чонкин понимал, что Руссо его пленник и что он собирается убежать.

— Стой! — приказал ему Чонкин. — Ты куда?

— Назад, — хрипло сказал Жан-Жак. — Назад к природе. — И пополз дальше в кусты.

— Стой! — закричал Чонкин, хватая Руссо за скользкие локти. — Стой! Стрелять буду!

При этом он удивился, что не слышит своего голоса, и испугался. Но Жан-Жак сам его испугался. Он сделал вдруг жалкое лицо и заныл, и сказал капризным голосом, как ребенок:

— На двор хочу! На двор хочу! На двор хочу!

Чонкин открыл глаза. Жан-Жак поднялся на ноги и принял облик капитана Миляги. Капитан через стол тормозил Чонкина двумя связанными руками и настойчиво требовал:

— Слышь ты, скотина, проснись! На двор хочу!

Чонкин оторопело смотрел на своего разъяренного пленника и не мог понять, во сне видит это или уже наяву. Потом понял, что наяву, встряхнулся, встал неохотно, — отодвинул стол, снял с гвоздя ошейник и проворчал:

— Всё на двор да на двор. Дня вам мало. Подставь шейку.

Капитан нагнулся. Чонкин затянул ошейник на три дырки, так, чтобы не душило, но и было достаточно туго, потом подергал, проверяя крепость, веревку, и отпустил:

— Иди, да побыстрее.

Свободный конец веревки намотал на руку и задумался. Мысли его были простые. Глядя на муху, ползущую по потолку, он думал: вон ползет муха. Глядя на лампу, думал: вон горит лампа. Задремал. Снова снился Жан-Жак Руссо, который пасся на огороде у Гладышева. Чонкин закричал Гладышеву:

— Эй, слышь, так это ж не корова, это Жан-Жак весь пух твой сожрал.

А Гладышев злорадно усмехнулся и, приподняв шляпу, сказал:

— Ты за пух не бойсь, а посмотри лучше, что он отвязался и сейчас убеет.

Чонкин с перепугу проснулся. Все было тихо. Храпел Свинцов, горела лампа, муха ползала в обратном направлении. Чонкин слегка потянул веревку. Капитан был все еще там. «Запор у него, что ли?» — подумал Чонкин, закрывая глаза.

Жан-Жак куда-то пропал. Молодая женщина тащила с речки корзину белья. Она шла и улыбалась такой светлой улыбкой, что Чонкин поневоле тоже заулыбался. И не удивился, когда она, положив корзину на землю, взяла его на руки легко, как пушинку, и стала покачивать, напевая:

**А-а, люли,
Прилетели гули,
Прилетели гули,
Прямо к Ване в люли...**

— Ты кто? — спросил Чонкин.

— Ай не узнал? — улыбнулась женщина. — Я — твоя мать.

— Мама, — потянулся к ней Чонкин руками, пытаюсь обхватить ее шею.

Но тут из-за кустов выскочили какие-то люди в серых гимнастерках. Среди них Чонкин различал Свинцова, лейтенанта Филиппова и капитана Милягу. Капитан протянул к Чонкину руки.

— Вот он! Вот он! — закричал Миляга, и лицо его исказилось в страшной улыбке.

Прижимая к груди сына, мать закричала не своим голосом. Чонкин тоже хотел закричать, но не смог и проснулся. Ошалело смотрел вокруг себя.

Все было тихо, спокойно. Слабым огнем горела лампа с прикрученным фитилем. Спали на полу пленники. Спала на кровати, отвернувшись к стене, Ньюра.

Чонкин посмотрел на часы, часы стояли. Он не знал, сколько времени спал, но ему показалось, что спал он довольно долго. Однако капитан Миляга все еще был там, в уборной, о чем свидетельствовала намотанная на руку Чонкина веревка.

— Хватит, будешь еще там рассиживаться,— сказал Чонкин как бы самому себе и подергал веревку, давая понять, что действительно хватит. После этого он выждал время, достаточное, по его мнению, чтобы подтянуть штаны, и снова подергал веревку. На том конце никто не отзывался. Тогда Чонкин поднатужился и потянул веревку сильнее. Теперь она подавалась, хотя и с трудом.

— Давай, давай, нечего упираться,— бормотал Чонкин, перехватывая веревку все дальше и дальше. Вот в коридоре послышались уже шаги. Но они не были похожи на мягкие шаги капитана Миляги. Шаги были частые и дробные, как будто кто-то мелко семенил в твердой обуви.

Страшная догадка мелькнула в мозгу Чонкина. Изю всей силы рванул он на себя веревку. Дверь распахнулась, и в избу с недоуменным выражением на лице ввалился заспанный, перемазанный с ног до головы навозом кабан Борька.

32

Выбравшись на волю, капитан Миляга почувствовал сильное волнение и полный разлад всего организма. Сердце в груди трепыхалось без всякого ритма, руки дрожали, а ноги и вовсе не слушались, и капитан не видел никакого смысла в своем побеге. Там, в избе, было тепло и более или менее уютно, а здесь дождь, холод, полная темнота, и неясно, куда бежать и за чем.

Он не чувствовал волнения, когда перерезал веревку о примеченную еще днем косу, хладнокровно надел ошейник на кабана, хотя тот и сопротивлялся. Ворота в хлев были запорты снаружи, но капитан нашел дырку под самой крышей и с трудом пролез сквозь нее, разорвав на плече гимнастерку. И вот теперь он не знал, во имя чего это делал. Было темно, сыпал дождь, холодные капли, скатываясь по крыше, попадали за ворот и медленно ползли по спине. Капитан не обращал на это внимания, он стоял, прислонившись затылком к бревенчатой стене и плакал.

Если бы кто-нибудь подошел и спросил: «Дядя, чего ты плачешь?», он не смог бы ответить. От радости, что оказался на воле? Но радости не было. От злости? От желания отомстить? Сейчас не было в нем ни того, ни другого. Было полное безразличие к своей судьбе и ощущение беспомощности и бессмысленности всякого действия. Для капитана Миляги это было незнакомое состояние, он не двигался с места, рискуя, что Чонкин сейчас его хватится, и плакал, не понимая себя. Может быть, это была просто истерика после всего, что капитану пришлось пережить в последнее время.

Вдруг он вздрогнул. Ему показалось, что он во дворе не один. Вглядевшись в темноту, он различил очертания странного какого-то существа или предмета крупных размеров. Он не сразу понял, что это просто-напросто самолет, тот самый, из-за которого и началась вся заваруха. А когда понял, чуть-чуть успокоился и, успокаиваясь, начал соображать.

Самолет стоял на краю огорода хвостом к избе. Значит, город Долгов приблизительно находится в той стороне, куда смотрит правое крыло самолета. Значит, бежать надо в том направлении. А зачем ему нужен этот Долгов, если там из его Учреждения не

осталось никого, кроме секретарши Капы? Значит, надо идти прямо в область, к Лужину, начальнику областного управления. А что сказать? Сказать, что один солдат с винтовкой образца тысяча восемьсот девяносто первого, дробь тридцатого года арестовал полностью весь личный состав районного отдела? По нынешним временам военный трибунал и расстрел обеспечены. Хотя, если трезво взвесить все обстоятельства, можно и выкрутиться. Тем более что за Лужиним Миляга кое-что знал. В частности, кое-что насчет происхождения областного начальника. Может быть, сам он уже и забыл, что отец его до революции в соседней губернии был полицмейстером, но Миляга не забыл и на всякий случай держал это обстоятельство в голове. Вот почему у Миляги была надежда, что Лужин не захочет доводить дело до трибунала. Тем более что в происшедшем конфузе виноват, по существу, лейтенант Филиппов. Ну что ж, с Филипповым придется проститься, хотя, конечно, и жаль парня немного. Что касается Чонкина, то он, Миляга, займется им лично.

Вспомнив про Чонкина, капитан мстительно улыбнулся. И вытер слезы. Жизнь его обрела смысл. И ради этого смысла стоило идти сквозь дождь и сквозь мрак.

Капитан отклеился от стены и шагнул вперед. Ноги разъезжались и вязли в размокшей почве. Но сапоги у него еще крепкие, как-нибудь выдержат.

Он уже обогнул самолет, когда за спиной скрипнула дверь. Кто-то вышел на крыльцо. Капитан, не раздумывая, рухнул в грязь. Сейчас, когда он вновь обрел волю к победе, капитан для своего спасения готов был вынести и не такое.

— Ну чего там видать? — Откуда-то, должно быть, из избы, послышался беспокойный голос Ньюры.

— Ничего не видать,— совсем близко сказал Чонкин.— Фонарь бы зажгла, что ли.

— Карасину нет,— отозвалась Ньюра.— А лампу вынести, эти сбегут.

Зачавкала грязь прямо возле капитанского уха.

Еще чуть-чуть, Чонкин наступит на капитана, и все пропало. А что, если дернуть его за ногу, он упадет?..

— Ну, чего? — опять крикнула Ньюра.

— Ничего,— сказал Чонкин.— Ботинки худые. Чего тут в них без толку лазить по грязи. Он небось уж давно ушел.

— А что ж ему, тебя дожидаться? Иди в избу, нечего грязь месить.

Чонкин постоял еще над капитаном, повздыхал, затем чавкающие шаги его стали медленно удаляться.

Капитан Миляга не спешил. Он подождал, пока Чонкин поднимется на крыльцо, подождал, пока щелкнет за ним щеколда. Дальше капитан продвигался ползком. Вот уже и забор. Оглянувшись и не увидев ничего подозрительного, капитан вскочил на ноги и одним рывком перемахнул через суковатые жерди. И тут же перед ним, словно из-под земли, выросли две темные фигуры в плащ-палатках. Капитан хотел вскрикнуть, но не успел. Одна из фигур взмахнула прикладом, и капитан Миляга потерял сознание.

(Окончание следует.)

Владимир ВОЙНОВИЧ

ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА

Роман-анекдот



Рисунки
Г. Новожилова

Штаб полка расположился в одном из пустых амбаров за огородами. Амбар этот был разделен на две части. В первой части находились караульные, дежурный по штабу, писарь и еще несколько личностей из тех, которые предпочитают всегда отираться возле начальства. В углу на подстилке из соломы сидел телефонист и вполголоса бормотал в трубку:

— Ласточка, ласточка, мать твою так, я — орленок, какого хрена не отвечаешь?

В другой половине, отделенной бревенчатой перегородкой и освещенной стоявшим на ящичке керосиновым фонарем, находились командир полка полковник Лапшин и его адъютант младший лейтенант Букашев.

Полковник собирался на оперативное совещание к командиру дивизии, когда разведчики Сырых и Филюков принесли на своих плечах и свалили в углу на подстилку из прелой соломы что-то длинное, грязное, похужее на бревно.

— Что это? — любопытствовал полковник.

— Языка взяли, товарищ полковник, — вытянул младший сержант Сырых. Правая щека его была залеплена глиной.

Полковник подошел ближе к тому, что лежало на соломе, поморщился.

— Это, пожалуй, не язык, — сказал он, подумав. — Это труп.

— Это все Филюков, товарищ полковник, — сказал Сырых, с той развязностью, которую позволяют себе только разведчики. — Я ему говорю: «Бери осторожней», — а он со всего маху прикладом — бац!

— Что же это ты, Филюков? — перевел полковник взгляд на другого разведчика.

— Спужался, товарищ полковник, — искренне сказал Филюков. И стал рассказывать, тоже с некоторой развязностью. Но развязность у него была другого рода, чем у Сырых. Это была развязность еще не пуганного деревенского человека, которому кажется, что в армии все такие, как он, и полковник — это что-то вроде колхозного бригадира. — Оно ведь как получилось, товарищ полковник. Подползли мы с младшим сержантом к какому-то забору. Такой это невысокий забор из жердев, из березовых. Залегли. Час лежим, два лежим. Никого нет, темно, дождь идет. — Филюков грязными руками схватил себя за голову и покачал ею, изображая ужас. — Мы хоча и в плащ-палатках, сверху оно текет — ничего, а снизу уже все брюхо мокрое. Во, поглядите. — Он развернул плащ-палатку и показал живот, который был действительно мокрый и грязный.

— Зачем ты мне все это рассказываешь? — удивился полковник.

— А вы погодите. Дайте докурить. — Не дожидаясь, он почти вырвал окурочек из рук полковника. Жадно потянул несколько раз, бросил под ноги и раздавил каблуком. — Значит, мы лежим, я говорю младшему сержанту: «Давай уходить». А ён говорит: «Подождем». И тут слышим, открывается дверь. И кто-то там за забором ходит, чавкает по грязюке. И женский голос чегой-то спрашивает, а мужеский отвечает: «Карасину, мол, нету». А потом ён ушел. и обратно никого нету. Я думаю: «Ну, ушел». И только я так подумал, тут ён как вылезет... — Филюков присел и, округлив глаза, придал своему лицу выражение крайнего ужаса... — и прямо на нас. И тады я хватаю винтовку и... — Филюков распрямился, сорвал с плеча винтовку и замахнулся на полковника.

Полковник отскочил.

— Ты что, ты что? — сказал он, подозрительно следя за Филюковым.

— Так я ж показываю, — надевая винтовку на

Окончание. Начало см. в № 12 за 1988 г. и № 1 за 1989 г.

плечо, сказал Филюков.— Да вы не сомневайтесь, голову даю наотрез — ён живой. Я, товарищ полковник, сам с Волги. У нас немцев было вагон и маленькая тележка. И вот за других не скажу, а за немцев скажу. Очень живучий народ. Другого человека так ударишь — убьешь. Кошку убьешь. А немец живой останется. А почему так? — Филюков не ответил, только развел в стороны руки и втянул голову в плечи, изображая крайнюю степень недоумения перед такой загадкой природы.

— Но этого ты все-таки убил,— строго сказал полковник.

— Да вы что,— сказал Филюков с полным неверием в свои силы.— Я вам говорю — ён живой. Ён дышит.— Он подошел к распростертому телу и стал слегка нажимать ногой на живот. Грудь лежавшего стала, и правда, слегка вздыматься, но от того, что лежавший дышал, или от того, что его накачивал Филюков, понять было трудно.

— Дышит на ладан,— возразил полковник.— Оставьте его, Филюков.— Можете оба идти.

Разведчики ушли.

Полковник стоял, разглядывая пленного.

— Это ж надо было его так вывозить в грязи, что не разберешь ни формы, ни знаков различия,— пробормотал он как бы про себя. И поднял голову: — Младший лейтенант!

— Я! — отозвался Букашев.

— Вы в школе какой язык изучали?

— Немецкий, товарищ полковник.

— Если пленный очнется, сможете допросить?

Букашев заколебался. Вообще-то он немецкий, конечно, учил, но как? С этого предмета чаще всего срывался в кино. Конечно, кое-что помнил. «Анна унд Марта Баден» и «Хойте ист дас вассер варм». Еще несколько слов отдельно.

— Постараюсь, товарищ полковник.

— Постарайтесь. Все равно переводчика нет.

Полковник натянул на фуражку капюшон плащ-палатки и вышел.

34

Хотя ликвидация банды Чонкина была поручена одному полку, общее руководство всей операцией ввиду ее важности взял на себя лично командир дивизии генерал Дрынов.

Этот генерал за короткий срок сделал головокружительную карьеру, потому что четыре года назад он носил еще одну шпалу и командовал ротой. Но однажды ему крупно повезло. Командир батальона в доверительной беседе сказал ему, что про Троцкого можно говорить все, что угодно, но во время гражданской войны главным был все-таки он. Может, памятливого командира и без высказывания замели бы своим чередом, но тогда трудно сказать, как это отразилось бы на судьбе будущего генерала. Здесь же все совпало наилучшим образом, Дрынов доложил Кому Надо и занял место комбата. С тех пор дела его шли как по маслу. Два года спустя уже с тремя шпалами попал он на войну с белофиннами.

Здесь со всей яркостью проявились его командирские способности. Дрынов отличался тем, что свободно и быстро ориентировался в любой, самой сложной ситуации, правда, из всех возможных решений выбирая самое глупое. Это не мешало ему выйти сухим из воды, и по окончании финской кампании он уже с четырьмя шпалами в петлицах явился в Москву, где сам дедушка Калинин в Георгиевском зале Кремля тряс его твердую руку двумя своими и сказал несколько слов, вручая орден Красного Знамени. Генерала же получил он совсем недавно за выдающиеся достижения в области военной науки, а именно: на учениях приказал обстреливать личный состав своей

части настоящими осколочными снарядами, максимально приближая обстановку к боевой. Дрынов утверждал, что при таком обучении погибают только плохие бойцы, которые не умеют окапываться. А в человеке, который не умеет окапываться, Дрынов вообще не видел никакого проку. Сам он любил окапываться.

Пока полк занимал исходные позиции, бойцы отдельного саперного батальона раскатали на бревна чью-то баню и возвели блиндаж в три наката. В этот блиндаж и явился полковник Лапшин. Предъявив часовому у входа пропуск, полковник спустился по четырем деревянным ступеням и рванул на себя сырую дверь. В блиндаже было сильно накурено и дым клубился, как во время пожара. Посреди блиндажа стояло цинковое корыто, вероятно, из той самой бани, которую разобрали, и в него падали с потолка тяжелые грязные капли.

Несколько человек в плащ-палатках сгрудились вокруг сколоченного из неструганых досок стола, и над всеми головами колыхалась дрыновская папаха.

— Разрешите присутствовать, товарищ генерал,— спокойно, с той вольностью, которую себе позволяют только близкие по чину, полковник небрежно кинул руку к козырьку.

— А, это ты Лапшин,— сквозь волны дыма разглядел генерал.— Присутствуй, присутствуй. А то подчиненные собрались, а командира все нет.

Подойдя ближе, Лапшин, кроме хозяина блиндажа, увидел всех своих трех комбатов, начальника штаба, командира артдивизиона и начальника СМЕРШа, маленького, невзрачного человека. Склонившись над столом, они обсуждали боевую задачу и изучали схему, пояснения к которой негромким голосом давал незнакомый Лапшину человек в брезентовом плаще с откинутым капюшоном и хромовых сапогах, до самых колен перемазанных глиной. По одежде своей он мало отличался от собравшихся командиров, только мятая кепка на голове выдавала в нем штатского.

— Познакомься,— кивком указал на штатского генерал.— Секретарь здешнего райкома.

— Ревкин,— сказал секретарь, подавая Лапшину холодную руку.

— Лапшин,— отозвался полковник.

— Ну что, Лапшин,— сказал генерал,— какие новости?

— Сержант Сырых и рядовой Филюков только что вернулись из разведки,— вяло доложил полковник.

— Ну и что?

— Принесли языка.

— И что он говорит? — оживился генерал.

— Он ничего не говорит, товарищ генерал.

— Как не говорит? — возмутился генерал.— Заставить!

— Трудно заставить, товарищ генерал,— улыбнулся Лапшин.— Он без сознания. Разведчики при взятии слишком сильно ударили его прикладом.

— Вот тебе на! — ударил кулаком по столу генерал. Он начинал сердиться.— В то время, как нам вот так нужны разведданные, они ценного языка глушат прикладом. Кто ходил в разведку?

— Сырых и Филюков, товарищ генерал.

— Сырых расстрелять!

— Но ударил Филюкова, товарищ генерал.

— Расстрелять Филюкова.

— Товарищ генерал,— попытался заступиться за своего разведчика полковник.— У Филюкова двое детей.

Генерал выпрямился. Глаза его гневно сверкнули.

— А я, товарищ полковник, по-моему, приказываю расстрелять Филюкова, а не его детей.

Начальник СМЕРШа улыбнулся. Он ценил добрый

юмор. Полковник в этом юморе тоже слегка разбирался. Он приложил руку к козырьку и послушно сказал:

— Есть, товарищ генерал, расстрелять Филюкова.

— Ну вот, наконец-то договорились,— опять-таки с юмором, довольно сказал генерал. Юмор его исходил из того, что полковник сразу должен был ответить «ссть!» по-воснному, а не торговаться с генералом, как базарная баба.— Подвигайся ближе к столу,— сказал он уже спокойно.

Командиры раздвинулись, освобождая место полковнику.

На большом ватманском листе, лежавшем поверх двухверстки, был карандашом изображен примерный план деревни Красное и прилегающей местности. Дома изображались квадратиками. Два квадрата посредине были отмечены крестиками.

— Вот смотри. Он говорит,— генерал показал на Ревкина,— что здесь,— ткнул карандашом в один из крестиков,— и здесь,— ткнул в другой,— находятся правление колхоза и школа. Думается, что именно в этих помещениях, как самых просторных, и располагаются основные силы противника. Значит, первый батальон отсюда наносит удар сюда.— Генерал начертил широкую изогнутую стрелу, которая острием своим уткнулась в квадратик, изображавший колхозную контору.— Второй батальон бьет отсюда.— Вторая стрела протянулась к школе.— И третий батальон...

«Ладно,— глядя на стрелы, думал полковник Лапшин,— с Филюковым авось обойдется. Главное — вовремя сказать «ссть!», а там можно не выполнять».

35

Очнувшись, капитан Миляга долго не мог открыть глаза. Голова раскалывалась от боли, капитан пытался и не мог вспомнить, где это и с кем он так сильно надрался. Он помотал головой, открыл глаза, но тут же закрыл их снова, увидев нечто такое, чего увидеть вовсе не ожидал. Увидел он, что находится в каком-то не то сарае, не то амбаре. В дальнем углу на снаряжном ящике сидел белообрый, лет двенадцати, парнишка в плащ-палатке и что-то писал, положив на колена планшет и бумагу. В другом углу возле полуоткрытых дверей спиной к капитану сидел еще один человек с винтовкой. Капитан стал поглядывать туда и сюда, не понимая, в чем дело. Потом откуда-то из глубины мозга стало выплывать сознание, что он будто куда-то ехал и не доехал. Какой-то красноармеец с какой-то женщиной... Ах, да, Чонкин. Теперь капитан вспомнил все, кроме самых последних минут. Вспомнил, как он попросился в уборную, как перерезал веревки и привязал вместо себя кабана. Потом он полз по огороду, шел дождь, и была грязь. Была грязь... Капитан ошупал себя. Действительно, гимнастерка и брюки, все было в грязи, которая, правда, стала уже подсыхать. Но что же было потом? И как он сюда попал? И кто эти люди? Капитан стал рассматривать белообрый паренька. Видимо, военный. Судя по обстановке, какая-то полевая часть. Но откуда может быть полевая, если до фронта далеко, а он еще недавно только полз по огороду, даже грязь не успела подсохнуть? На самолете, что ли, его сюда доставили? Капитан стал из-под полуприкрытых век наблюдать за белообрым. Белообрый оторвался от бумаги, глянул на капитана. Взгляды их встретились. Белообрый усмехнулся.

— Гутен морген,— произнес он неожиданно.

Капитан снова опустил веки и стал неспешно сообщать. Что сказал этот белообрый? Какие-то странные нерусские слова. Гутен морген. Кажется, это по-немецки. Из тумана выплыло воспоминание. Восемнадцатый год, украинская мазанка, и какой-то

рыжий немец в очках, который стоит на постое у них в этой мазанке, по утрам, выходя из смежной комнаты в нижней рубашке, говорит матери:

— Гутен морген, фрау Миллег,— произнося фамилию на немецкий манер.

Рыжий был немец, значит, он говорил по-немецки. Этот тоже говорит по-немецки. Раз он говорит по-немецки, значит, он немец. (За время службы в органах капитан Миляга научился логически мыслить.) Значит, он, капитан Миляга, каким-то образом попал в плен к немцам. Хотелось бы, чтоб это было не так, но правде надо смотреть в глаза. (Глаза его были в это время закрыты.) Из печати капитан Миляга знал, что работников Учреждения и коммунистов немцы не щадят. В данном случае Миляга был и то и другое. И партбилет, как назло, в кармане. Правда, членские взносы не заплачены с апреля, но кто станет разбираться в тонкостях?

Капитан снова открыл глаза и улыбнулся белооброму, как приятному собеседнику.

— Гутен морген, херр,— вспомнил он еще одно слово, хотя и не был убежден, что оно вполне прилично.

Тем временем младший лейтенант Букашев, тоже мучительно припоминая немецкие слова, сложил из них простейшую фразу:

— Коммен зи херр.

«Наверное, он хочет, чтобы я к нему подошел»,— сообразил капитан, отметив про себя, что слово «херр» должно быть вполне употребительным, раз белообрый его произносит.

Капитан встал, превозмог головокружение и продвинулся к столу, приветливо улыбаясь белооброму. Тот на улыбку не ответил и хмуро предложил:

— Зитцен зи.

Капитан понял, что его приглашают садиться, но, оглядевшись вокруг себя и не увидев ничего похожего на стул или табуретку, вежливо поблагодарил кивком головы и приложением ладони к тому месту, где у нормального человека подразумевается сердце. Следующий вопрос «Намен?» не был капитану понятен, однако он прикинул в уме, какой первый вопрос могут задать на допросе, понял, что вопрос этот может быть о фамилии допрашиваемого, и задумался. Скрыть свою принадлежность к органам или к партии невозможно, о первом говорит форма, второе выяснится при первом поверхностном обыске. И он вспомнил свою фразу, с которой начинал все допросы: «Чистосердечное признание может облегчить вашу участь». Из практики он знал, что чистосердечное признание ничьей участи еще не облегчило, но других надежд не было, а это была хоть какая. Была еще слабая надежда на то, что немцы народ культурный, может, у них все не так.

— Намен? — нетерпеливо повторил младший лейтенант, не будучи уверен, что правильно произносит слово.— Ду намен? Зи намен?

Надо отвечать, чтобы не рассердить белооброго.

— Их бин капитан Миляга,— заторопился он.— Миллег, Миллег. Ферштейн? — Все же несколько немецких слов он знал.

«Капитан Миллег»,— записал лейтенант в протоколе допроса первые сведения. И поднял глаза на пленника, не зная, как спросить о роде войск, в котором тот служит.

Но тот предупредил его и спешил давать показания:

— Их бин ист арбайтен... арбайтен, ферштейн? — Капитан изобразил руками некую работу, не то копанье огорода, не то пиление напильником.— Их бин ист арбайтен... — Он задумался, как обозначить свое Учреждение, и вдруг нашел неожиданный эквивалент: — Их бин арбайтен ин руссиш гестапо.

— Гестапо? — нахмурился белообрый, поняв

слова допрашиваемого по-своему.— Ду коммунистен стрелирт, паф-паф?

— Я, я,— охотно подтвердил капитан.— Унд коммунистен, унд беспартийнен всех расстрелирт, паф-паф,— изображая пистолетную стрельбу, капитан размахивал правой рукой. Затем он хотел сообщить допрашивающему, что у него большой опыт борьбы с коммунистами и он, капитан Миляга, мог бы принести известную пользу немецкому Учреждению, но не знал, как выразить столь сложную мысль.

Младший лейтенант тем временем записывал в протоколе допроса:

«Капитан Миллег во время службы в гестапо расстреливал коммунистов и беспартийных...»

Он чувствовал, как ненависть к этому гестаповцу растет в его груди. «Сейчас я его пристрелю»,— думал Букашев. Рука уже потянулась к кобуре, но тут же младший лейтенант вспомнил, что надо вести допрос, надо держать себя в руках. Он сдержался и задал следующий вопрос:

— Во ист ваш фербанд дислоцирт?

Капитан смотрел на белобрысого, улыбался, силясь понять, но ничего не понимал. Он понял только, что речь идет о какой-то, видимо, банде.

— Вас? — спросил он.

Младший лейтенант повторил вопрос. Он не был уверен, что правильно строит фразу, и начинал терять терпение.

Капитан снова не понял, но, видя, что белобрысы сердится, решил заявить о своей лояльности.

— Ес лебе геноссе Гитлер! — вставил он новое слово в знакомое сочетание.— Хайль Гитлер! Сталин капут!

Младший лейтенант вздохнул. Этот фашист — явный фанатик. Однако нельзя отказать ему в храбрости. Идя на верную смерть, он славит своего вождя. Букашев хотел бы, попав в плен, держаться так же. Сколько раз представлял он себе картину, как его будут пытать, загонять иголки под ногти, жечь огнем, вырезать на спине пятиконечную звезду, а он ничего не скажет, он только будет выкрикивать: «Да здравствует Сталин!» Но он не всегда был уверен, что найдет в себе для этого достаточно мужества, и мечтал погибнуть с тем же возгласом на поле боя.

Младший лейтенант не стал реагировать на бессмысленные выкрики немца и продолжал допрос. Он задавал вопросы на ломаном русско-немецком языке. К счастью, и пленный немножко кумекал по-русски. И кое-что из него удалось все-таки выжать.

Капитан сообразил, что, очевидно, фербандой белобрысы называет Учреждение, в котором состоял он, Миляга.

— Там,— сказал он, охотно показывая рукой неизвестно куда,— ист хауз, нах хауз ист Чонкин. Ферштейн?

— Ферштейн,— сказал младший лейтенант, не давая виду, что именно Чонкин его особенно интересует.

Пленный, морщась от головной боли и напряжения, продолжал давать показания, с трудом подбирая чужие слова.

— Ист Чонкин унд айн, цвей, драй... семь... зибен русшиш гестапо... связанные штриппе, веревкен... Ферштейн? — Капитан попытался жестами изобразить связанных между собой людей.— Унд айн флюг, самолетен.— И он замаха л руками, как крыльями.

— Ласточка, ласточка! — донеслось из соседнего помещения.— Что же ты, мать твою, не отвечаешь?

Капитан Миляга удивился. Он и не подозревал, что в немецком языке так много общего с русским. Или...

Но мысль свою он недодал. Голова раскальвалась, и к горлу подступала легкая тошнота. Капитан сглотнул слюну и сказал белобрысому:

— Их бин болен. Ферштейн? Голова, майн копф бум-бум.— Он слегка постукал себя кулаком по темени, а потом положил щеку на ладонь.— Их бин хочен бай-бай.— Не дожидаясь разрешения, он неуверенной походкой, шатаясь от слабости, прошел к своей подстилке, лег и вновь потерял сознание.

36

Тем временем совещание у командира дивизии продолжалось. Был только небольшой перерыв, когда командиры батальонов уходили, чтобы переместить свои подразделения на намеченные исходные позиции. Отдав указания окопаться на новых местах, командиры вернулись в блиндаж.

Теперь обсуждалась проблема оружия и боеприпасов. Выяснилось, что в полку имеется только одно сорокапятимиллиметровое орудие и к нему три снаряда, один пулемет системы «максим» без лент, два батальонных миномета без мин, по две винтовки с ограниченным запасом патронов на каждое отделение и по одной бутылке с горючей жидкостью на три человека.

— Все ясно,— сказал генерал.— Оружия и боеприпасов мало. Максимально использовать фактор внезапности. Патроны экономить.

Открылась дверь, в блиндаже появился какой-то красноармеец в промокнутой шинели.

— Товарищ генерал,— закричал он, приложив руку к пилотке,— разрешите обратиться к товарищу полковнику?

— Разрешаю,— сказал генерал.

Боец повернулся к полковнику. От его шинели шел пар.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться?

— Ну что там у тебя? — спросил полковник.

Боец вручил ему пакет и, попросив разрешения, вышел.

Полковник, разорвав пакет, прочел донесение и молча протянул генералу.

В донесении было написано:

*Командиру полка полковнику
Лапину от младшего лейтенанта
Букашева*

ДОНЕСЕНИЕ

Настоящим сообщая, что мною, младшим лейтенантом Букашевым, был допрошен военнослужащий германской армии, взятый в плен разведчиками Сырых и Филюковым.

При допросе пленный показал, что он является офицером гестапо Миллегом. За время службы в гестапо отличался жестокостью и беспоощаенностью и лично участвовал в массовых расстрелах коммунистов и беспартийных советских граждан.

Одновременно с этим он показал, что штаб так называемого Чонкина находится в крайней избе, принадлежавшей до оккупации почтальону Беляшовой, и охраняется усиленным отрядом гестаповцев, связанных между собой самыми тесными узами. Рядом имеется посадочная площадка и один самолет, по-видимому, для связи с регулярными частями гитлеровской армии.

От более подробных показаний вышеозначенный Миллеги уклонился. При допросе вел себя вызывающе, с фанатизмом. Неоднократно выкрикивал фашистские лозунги (в частности, «Хайль Гитлер!»), позволял возмутительные заявления относительно общественного и политического устройства нашей страны. Несколько кощунственных выпадов касались личности тов. И. В. Сталина.

Младший лейтенант Букашев.

— Ну что ж,— сказал генерал.— Сведения очень ценные. Младшего лейтенанта Букашева представить к награде. Исходные позиции изменить в соответствии с новыми данными. Чтобы не расплытаться, сосредото-

точить все силы для атаки на штаб так называемого Чонкина.— Он придвинул к себе план, зачеркнул прямоугольники, изображавшие места дислокации батальонов, и передвинул их на другие места. Зачеркнул стрелы и провел новые. Теперь все три стрелы сходились на избе Нюры Беляшовой.

37

Допросив пленного, лейтенант Букашев составил донесение и с одним из свободных караульных отправил к командиру полка. Теперь можно было бы немного и вздремнуть, но спать не хотелось, и он решил написать письмо матери. Он положил перед собой раскрытый блокнот, придвинул коптилку и своим еще не установившимся школьным почерком начал быстро писать:

«Моя милая, славная, дорогая мамулька!

Когда ты получишь это письмо, твоего сына, возможно, уже не будет в живых. Сегодня на рассвете по сигналу зеленой ракеты я уйду в бой. Это будет первый бой в моей жизни. Если он окажется и последним, я прошу тебя: не горюй. Пусть тебя утешает мысль, что сын твой, младший лейтенант Букашев, отдал свою молодую жизнь за Родину, за партию, за великого Сталина.

Верь мне, я буду счастлив погибнуть, если моя смерть хоть в какой-то степени смоет пятно позора, которое положил на нас твой бывший муж и мой бывший отец...»

Написав слово «отец», Букашев задумался. И та ночь во всех подробностях встала перед его глазами, как будто это было только вчера. Он тогда кончал восьмой класс.

Когда они пришли и стали колотить в дверь прикладами и все в квартире переполошились, отец спокойно сказал матери:

— Подожди, я открою, это за мной.

Потом эти слова стали для Леша самой тяжелой уликой против отца. «Это за мной»,— сказал он. Значит, он знал, что за ним могут прийти, значит, знал, что виноват, потому что у невиновного такого ощущения быть не могло.

Их было четыре человека: один с пистолетом, двое с винтовками и четвертый очкарик с нижнего этажа, взятый в качестве понятого. Этот очкарик трясся от страха и, как выяснилось впоследствии, не напрасно, через некоторое время его тоже арестовали по делу отца.

Они вспороли все перины и подушки (пух потом летал три дня по всему двору), разломали мебель и переколотили посуду. Тот, который был с пистолетом, брал по очереди горшки с цветами, поднимал над головой и разбивал прямо посреди комнаты, наворотив кучу черепков и земли.

Потом они ушли и увели с собой отца.

Первое время Леша еще на что-то надеялся. Ему трудно было свыкнуться с мыслью, что его отец, герой гражданской войны, орденоседец, получивший от ВЦИК именное оружие (саблю с золотым эфесом), а потом директор одного из крупнейших металлургических заводов, оказался простым шпионом, сотрудничавшим с польской дефензивой. Но, к сожалению, вскоре все подтвердилось. Под давлением улики отец дал показания, что хотел вывести из строя одну из последних маргеновских печей. Не верить этому было нельзя. Отец сам подтвердил это в своих показаниях. Но одно только никак не укладывалось у Леша в голове — зачем отцу нужно было выводить из строя эту самую печь? Неужели он думал, что вместе с этой печью рухнет все Советское государство? Если он так долго и искусно скрывал свою сущность от партии, от народа, наконец, от своей семьи, значит, он не был

так глуп. И у него для вредительства были гораздо большие возможности. Нет, Леша решительно не мог понять ничего, и именно это больше всего мучило. Букашев встал, прошелся по амбару. Было тихо. Пленный лежал на соломе с закрытыми глазами, и лицо его было бледно. Пахло сеном, и где-то трещал сверчок. Он сел на место, вздохнул и послонил химический карандаш.

«...Мамочка дорогая, может быть, ты меня осудишь за то, что я, поступая в командирскую школу, скрыл правду об отце. Я знаю, я смалодушничал, но я не видел другого выхода, я хотел защищать Родину вместе со своим народом и боялся, что мне этого не позволят...»

Младший лейтенант отложил карандаш, подумал. Надо было бы сделать какие-нибудь распоряжения на случай смерти, но он не знал, какие именно. Раньше люди писали завещания. Ему завещать было нечего. Но все же он написал: «Мамочка, если увидишь Лену Синельникову, передай ей, что я освобождаю ее от данного мне обещания (она знает), а костюм мой продай, не береги. Деньги, которые ты за него получишь, тебе пригодятся.

На этом письмо свое заканчиваю, до сигнала атаки осталось меньше часа. Прощай, моя дорогая мамуля! Твой, любящий тебя сын, Леша».

После этого он поставил число и время: 4 часа 07 минут.

Письмо это младший лейтенант Букашев сложил треугольником, надписал адрес и положил в левый карман к документам. Если останется жив, он письмо уничтожит, если погибнет, отправят и без него.

Время близилось к рассвету, надо было спешить. Младший лейтенант вырвал еще один лист из блокнота и написал заявление в партийную организацию своей части. Он не стал мотивировать свою просьбу. Он написал просто и скромно: «Если погибну, прошу считать коммунистом». И расписался. И поставил число. И, оставив заявление, чтобы просохло, вышел размяться наружу. Было еще темно, но вдали уже различались очертания каких-то предметов и где-то внизу, над речкой, белела полоса тумана. Часовой, стоявший на посту у входа в амбар, курил, прикрывая сигарку ладонью. Младший лейтенант хотел сделать ему замечание, но передумал.

«Какое моральное право имею я делать замечание этому человеку, который в два раза старше меня?» — подумал он и вернулся в амбар.

Вернувшись, посмотрел он на то место, где лежало заявление. Блокнот был, заявления не было. «Что за черт?» — подумал младший лейтенант и стал рыться в карманах. Служебное удостоверение нашел. Письмо матери нашел. Нашел, наконец, фотографию Лены Синельниковой. Заявления в партию не было.

Букашев подозрительно посмотрел на пленного, но тот по-прежнему спал в своем углу, правда, не такой бледный, как раньше. Вряд ли стал бы он красть заявление, которое ему ни к чему совершенно. Младший лейтенант взял фонарь и стал обшаривать ближайшее пространство. Он заглядывал во все углы, ползал на коленях, переворачивал ящики — заявления не было.

Поиски младшего лейтенанта были прерваны каким-то наружным шумом. Он поспешил на этот шум и увидел у входа в амбар командира дивизии, который тыкал часового пистолетом в живот и произносил речь, состоявшую сплошь из мата. Позади генерала в предрассветной полутьме угадывались полковник Лапшин, начальник СМЕРШа и еще несколько темных фигур. Часовой, сжимая винтовку, таращил на генерала обезумевшие глаза. Младший лейтенант застыл по стойке «смирно». Его появление отвлекло генерала от часового, и он закричал:

— А ты кто такой?

— Младший лейтенант Букашев,— отрапортовал он испуганно.

— Мой адъютант,— пояснил Лапшин.

— Что ж ты, младшой, так твою мать, не смотришь, что у тебя этот раздолбай курит на посту, туда его в душу?

— Виноват, товарищ генерал армии! — наконец опомнился часовой, сразу повысив Дрынова на три чина.

Это было грубой лестью, но и Дрынов был тоже грубый. Он слегка смягчился и проворчал:

— Виноват, так твою мать. Кровью своей искупать будешь вину. Тут вот секретарь райкома товарищ Ревкин приехал,— показал он на кого-то, стоявшего за начальником СМЕРШа,— посмотрит он и скажет: «Ну и порядки у этих военных». Один такой вахлак сможет устроить демаскировку и погубить целую дивизию. Ну как, младшой, все спокойно?

— Спокойно, товарищ генерал!

— Ну, хорошо, пойдем внутрь.

38

Капитан Миляга проснулся от какого-то шума, значение которого было ему непонятно. Приподнялся на локте. В амбаре никого не было. Тот, белообрый, который сидел за столом, куда-то смылся. Может, и ему, Миляге, можно смяться? Он огляделся. Увидел под потолком маленькое окошечко. Там, в хлеву Нюры Беляшовой, тоже было окошечко под потолком. Если составить все эти ящики один на другой...

В амбар вошли пятеро. Первый, большой и грузный, с кирпичным лицом, за ним, чуть приотстав, худощавый, потом еще один, в высоких сапогах, за ним маленький, невзрачного вида, как показалось капитану, очень симпатичный, и последним шел белообрый. Тот, что был в высоких сапогах, сразу заинтересовал капитана. Уж больно лицо его было знакомо. Конечно же, секретарь Ревкин. Наверное, эти немцы не знают, кто он такой, иначе они бы не так с ним обращались. И тут капитан понял, где путь к спасению. Сейчас он окажет немцам большую услугу, после которой они, может быть, и не станут его расстреливать. Он вскочил и направился прямо к Ревкину. Ревкин в недоумении остановился. Белообрый схватился за кобуру.

— Афанасий Петрович? — наконец неуверенно проговорил Ревкин.— Товарищ Миляга?

— Волк тебе товарищ,— улыбнулся Миляга и повернулся к высокому, который, как он понял, был здесь самым главным.— Прошу битте, учсть мой показаний, этот швайн ист секретарь райкома Ревкин, районен фюрер. Ферштейн?

— Афанасий Петрович,— еще пуще удивился Ревкин,— что с тобой, милый, опомнись?

— Вот они тебе сейчас опомнятся. Они тебе сейчас дадут,— пообещал Миляга.

Ревкин растерянно посмотрел на генерала, тот развел руками и помотал головой.

— Что за так твою мать? — удивился он.

Услыхав опять знакомое словосочетание, Миляга растерялся. Он смотрел на военных, переводя взгляд с одного на другого, и ничего не мог понять. Да и в голове еще немного потрескивало. Но тут в помещение вошли несколько человек с автоматами. На их касках блестели от дождя крупные звезды. Догадка забрезжила в помутненном сознании капитана.

— Кто это? — на чистом русском языке спросил высокий.

— Пленный, товарищ генерал,— выступил вперед Букашев.— Капитан гестапо.

— Тот самый? — генерал вспомнил донесение.

— При чем здесь гестапо? — заспорил Ревкин и дал краткие разъяснения по поводу личности капитана.

— Но я же его допрашивал,— растерялся Букашев.— Он сказал, что расстреливал коммунистов и беспартийных.

— Ни хрена понять не могу,— запутался вконец Дрынов.— Может, он тогда скажет? Ты кто есть? — спросил он непосредственно у Миляги.

Миляга был растерян, ошеломлен, раздавлен. Кто-то, а уж он-то совершенно ничего не мог понять. Кто эти люди? И кто он сам?

— Их бин...

— Ну вот, видишь,— повернулся генерал к Ревкину,— я же говорю, что он немец.

— Найн, найн! — приходя в ужас, закричал Миляга, перепутав все известные ему слова из всех языков.— Я нет немец, я никс немец. Русский я, товарищ генерал.

— Какой же ты русский, так твою мать, когда ты слова по-русски сказать не можешь.

— Я могу,— приложив руку к груди, стал горячо уверять Миляга.— Я могу. Я очень даже могу.— Для того, чтобы убедить генерала, он выкрикнул: — Да здравствует товарищ Гитлер!

Конечно, он хотел назвать другую фамилию. Это была просто ошибка. Трагическая ошибка. Но то тяжелое состояние, в котором он находился с момента пленения, перемешало в его стукнутой голове все, что в ней было. Выкрикнув последнюю фразу, капитан схватился двумя руками за эту голову, упал и стал кататься по земле, понимая, что его уже ни за что не простят, да и сам бы он не простил.

— Расстрелять! — сказал генерал и сделал характерное отмахивающее движение рукой.

Двое бойцов из его охраны подхватили капитана под мышки и поволокли к выходу. Капитан упирался, выкрикивал какие-то слова, русские вперемешку с немецкими (оказалось, что он слишком хорошо знает этот иностранный язык), и носки его хромовых грязных сапог чертили по перемешанной с полбóвой земле две извилистые борозды.

И у многих из тех, кто глядел на него, сжалось сердце от жалости. Сжалось оно и у младшего лейтенанта Букашева, хотя умом он понимал, что капитан сам заслужил свою участь. А начальник СМЕРШа, провожая взглядом своего коллегу в последний путь, думал: «Дурак ты, капитан! Ох и дурак!»

И в самом деле, погиб капитан Миляга, недавний гроза района, как дурак, по чистойшему недоразумению. Ведь если бы он, попав на допрос, разобрался в обстановке и понял, что это свои, разве стал бы он говорить про русское гестапо? Разве стал бы он выкрикивать «Хайль Гитлер!», «Сталин капут!» и прочие антисоветские лозунги. Да ни за что в жизни. И по-прежнему считался бы первосортным патриотом. И вполне возможно, дослужившись до генерала, получал бы сейчас хорошую пенсию. И проводил бы заслуженный отдых, забывая с друзьями-пенсионерами «козла». И выступал бы в жилищных конторах с лекциями, уча молодежь патриотизму, культуре поведения в быту и нетерпимому отношению ко всем проявлениям чуждой идеологии.

39

Чонкин не знал, какая над ним нависла опасность, но неприятности в связи с побегом капитана Миляги предчувствовал.

Поэтому незадолго до рассвета, пользуясь тем, что и пленные, и Нюра спали крепким предутренним сном, он раскрыл свой вещмешок, передел чистое белье, и стал рыться, перебирая свое имущество.

В случае чего он хотел оставить Нюре что-нибудь на память.

Имущества было негусто. Кроме белья, смена байковых зимних портянок, иголка с нитками, огрызок химического карандаша и завернутые в газету шесть фотокарточек, где он снят был вполроста. Его товарищи по службе фотографировались, чтобы порадовать карточками родных или знакомых девушек, Чонкину радовать было некого. Поэтому все шесть карточек у него сохранились. Он вынул из пачки верхнюю и поднес к лампе. Вглядевшись в свое изображение,

Чонкин остался им, в общем, доволен. Каптенармус Трофимович, подработывавший фотографированием, изобразил Чонкина при помощи специальной рамки на фоне идущих внизу танков и летящих поверху самолетов. А над самой головой Чонкина вилась ореолом надпись: «Привет из Красной Армии».

Примостившись на краешке стола, он долго слюнил карандаш и обдумывал текст. Потом вспомнив надпись, которую рекомендовал ему в свое время тот же Трофимович, и высунув от напряжения язык, вывел неровными, почти что печатными буквами:



**«Пусть нежный взор твоих очей
Коснется копни моей.
И, может быть, в твоём уме
Возникнет память обо мне».**

Подумал и дописал:

«Нюре Б. от Вани Ч. в дни совместной жизни».

Карандаш спрятал в карман, а карточку положил на подоконник.

За окном светало, и дождь, кажется, перестал. Пора было будить Нюру, а самому подремать хоть немного, потому что скоро надо пленных выводить на

работу и там, в чистом поле, следить в оба, чтобы не разбежались, подобно своему начальнику.

Будить Нюру было жалко. И вообще жалко. Сколько они вместе живут, сколько она из-за него терпит, сколько сплетен вокруг, а ведь никогда не пожалуется. Был, правда, случай, намекнула робко, что не мешало бы оформить отношения, да он отговорился, что красноармейцу без разрешения командира жениться нельзя. Это, конечно, так, но, если по-честному, дело не в разрешении, а в том, что он сам не решался, обдумывая положение...



Иван подошел к Нюре и тихо тронул ее за плечо.

— Нюрк, а, Нюрк,— сказал ласково.

— А? Что? — Нюра, вздрогнув, проснулась и смотрела на него бессмысленными со сна глазами.

— Сменила б, слышь, меня на маленько,— попросил он.— Спать хочется, мочи нет!

Нюра послушно слезла с кровати, всунула ноги в сапоги, взяла винтовку и села возле двери.

Иван, не раздеваясь, лег на освобожденное место. Подушка была теплая после Нюры. Он закрыл глаза, и только сознание его начало путаться между сном и действительностью, как послышался какой-то странный, с прихлебами, звук, что-то ахнуло где-то — и зазвенели оконные стекла. Иван сразу пришел в себя и сел на кровати. Проснулись Свинцов и Едренков, Нюра сидела на прежнем месте, но лицо ее выражало беспокойство.

— Нюрка,— шепотом позвал Иван.

— А? — шепотом отозвалась она.

— Чего там такое?

— Кажись, стреляют.

И вдруг снова бабахнуло, теперь вроде с другой стороны. Чонкин вздрогнул.

— Господи, твоя воля! — шепотом выдохнула Нюра.

Проснулись и другие пленники. Только лейтенант Филиппов чмокал губами во сне. Свинцов приподнялся на локте и переводил взгляд с Нюры на Чонкина и обратно.

— Нюрка,— сказал Иван, торопливо зашнуровывая ботинки.— Дай мне винтовку, а себе возьми из кошелки левольвер какой побольше.

И, не надевая обмоток, вышел во двор. Во дворе было тихо, грязно, но дождь перестал. Еще не совсем рассвело, но видимость была уже неплохая. Самолет, расставив свои нелепые крылья, стоял на месте.

Чонкин огляделся, и странное зрелище поразило его. Метрах в двухстах за огородами клубились белые сугробы.

«Что за хрен? — удивился Чонкин.— В такую теплынь откуда же снег?»

Он заметил, что сугробы эти шевелятся и передвигаются в его сторону. Чонкин еще больше удивился и взгляделся внимательней. И тут только он понял, что это вовсе не сугробы, а некая масса людей, которые ползут по направлению к нему, Чонкину. Он не знал, что это ударный взвод, которому было поручено забросать противника бутылками с горючей жидкостью как продолжение артоподготовки. Когда их обмундировывали, на складе не хватило шинелей и бойцам выдали зимние маскхалаты, которые были использованы по причине плохой погоды. «Немцы!» — подумал Чонкин. В ту же секунду ахнул винтовочный выстрел и пуля взвынула под самым ухом Ивана. Он упал. Подполз к правой стойке шасси и укрепил винтовку между стойкой и колесом.

— Эй, сдавайтесь! — крикнул кто-то оттуда, от белых халатов.

«Русские не сдаются!» — хотел крикнуть Чонкин, но постеснялся. Вместо ответа он приложился к прикладу и выстрелил, не целясь. И тут началось. Со стороны неприятеля захлопали беспорядочно выстрелы, и пули засвистели над Чонкиным. Большая часть пролетела мимо, но некоторые задевали самолет, распарывали обшивку и со звоном плющились о стальные детали мотора. Чонкин уткнулся лицом в землю и время от времени, экономя патроны, стрелял неизвестно куда. Извел первую обойму, заправил вторую. Пули продолжали свистеть, некоторые из них — совсем близко. «Кабы старшина выдал мне каску»,— с тоской подумал Иван, но продолжил свою мысль не успев. Что-то мягкое плюхнулось рядом с ним. Он вздрогнул. Потом слегка повернул

голову и открыл один глаз. Рядом с ним лежала Нюра и так же, как он, прижавшись к земле, палила в воздух сразу из двух пистолетов. Кошелка с остальными пистолетами лежала рядом про запас.

— Нюрк,— толкнул Чонкин подругу.

— Ась?

— Ты почто их-то бросила?

— Не бойсь,— сказала Нюра, нажимая сразу на два спусковых крючка.— Я их в подпол загнала и гвоздями забила. Ой, погляди!

Иван приподнял голову. Теперь белые продвигались вперед короткими перебежками.

— Этак, Нюрка, мы с ими не справимся,— сказал Чонкин.

— А ты из пулемета умеешь? — спросила Нюра.

— А где ж его взять?

— А в кабинке.

— Ой, как же это я забыл! — Чонкин вскочил и ударился головой о крыло. Прячась за фюзеляжем, оборвал тесемки брезента, залез на крыло, и не успели белые отреагировать, он был уже в задней кабине. Здесь действительно находились турельная установка и пулемет с полным боекомплектом. Чонкин схватился за ручки. Но пулемет был неподвижен. Турель от долгого бездействия и дождей заржавела.

Начал он плечом расшатывать пулемет, но он не поддавался.

Тут что-то тяжелое без выстрела упало на верхнее крыло. Потом еще и еще. И застучало вокруг и по крыльям, зазвенело разбитое стекло, и остро запахло чем-то, похожим на керосин. Чонкин высунул голову и увидел, что из-за ограды летит на него туча бутылок, наполненных желтой жидкостью. Большая часть бутылок плюхалась в грязь, но некоторые попадали по самолету, катились по крыльям и разбивались об мотор. (Впоследствии оказалось — бойцов ударного взвода забыли предупредить, что бутылки с горючей жидкостью надо сперва поджигать, и они швыряли их просто так.)

Сбоку на крыле появилась Нюра.

— Нюрка, не высуйся,— крикнул Иван,— пришибут!

— А на кой они бросают бутылки? — прокричала ему в ухо Нюра, паля одной рукой в воздух из пистолета.

— Не бойсь, Нюрка, опосля сдадим! — нашел в себе силы для шутки Чонкин. И приказал:

— Вот что, Нюрка, хватай самолет за хвост и крути в разные стороны! Поняла?

— Поняла! — прокричала Нюра, сползая с плоскости на животе.

40

В это время генерал Дрынов сидел в блиндаже под тремя накатами и следил за происходящим сквозь перископ. Не то чтобы он был так труслив (храбрость свою он неоднократно уже показывал), просто он считал, что генералу по чину положено сидеть в блиндаже и передвигаться исключительно на бронетранспортере. В перископ он видел, как его войска сперва ползком, а потом короткими перебежками двигались по направлению к крайней избе. Оттуда тоже вели огонь, но не очень плотный. Генерал приказал телефонисту соединить его с командиром атакующего батальона и передал приказ начинать атаку.

— Есть, товарищ первый! — ответил в трубку командир батальона.

Вскоре в цепи атакующих заметно стало усиленное шевеление. Бойцы ударного взвода в белых халатах подползли вплотную к забору. Генерал видел, как они, поочередно приподнимаясь, взмахивают руками. «Бросают бутылки»,— догадался генерал.

Но почему же нет пламени?

Генерал снова соединился с комбатом.

— Почему не горят бутылки?

— Сам не понимаю, товарищ первый.

— А спичками их поджигали? — повысил голос генерал.

Было слышно, как шумно дышит в трубку командир батальона.

— Я тебя спрашиваю, — не дождался ответа Дрынов, — поджигали бутылки или нет?

— Нет, товарищ генерал.

— Почему?

— Я не знал, товарищ первый, — помолчал, признался комбат.

— В трибунале узнаешь, — пообещал генерал. — Кто есть рядом с тобой из комсостава?

— Младший лейтенант Букашев.

— Передай ему командование батальоном и отправляйся под арест.

— Есть, товарищ первый, — упавшим голосом ответила трубка.

В это время застучал пулемет. Генерал удивился и, бросив трубку, кинулся к перископу.

Он увидел, что цепи атакующих залегли, а бойцы ударного взвода, вжавшись в землю, ползут обратно. Халаты на них были уже не совсем белые или, точнее сказать, совсем не белые, теперь вполне пригодные для маскировки. Передвинув трубку перископа чуть левее, генерал увидел, что пулеметный огонь идет из самолета, который, движимый непонятной силой, возвращается на месте.

— Что за едрит твою мать! — удивился генерал, но, отрегулировав резкость, удивился еще больше. Некто явно женского пола в цветастом платье, расстегнутой телогрейке и сбившемся на плечи полушалке, таскает этот самолет за хвост. Вот самолет повернулся боком, и на хвосте его генерал отчетливо разглядел звезду. «Неужто — наш?» — мелькнуло в генеральском мозгу. Нет, не может быть. Обыкновенная вражеская уловка. Для этого эта баба его и крутит, чтоб обмануть. Он опять вернулся к телефону. Вызвал командира полка.

— Слушай, второй, — сказал он ему, — это говорит первый! У нас в орудии сколько снарядов осталось?

— Один, товарищ первый.

— Очень хорошо, — сказал первый. — Прикажи подтащить орудие к уборной, на которой что-то написано иностранными буквами, и цускай вдарят прямой наводкой в упор.

— Так пулемет же, товарищ первый.

— Что пулемет?

— Не дает подойти. Стреляет. Люди погибнут.

— Погибнут! — загремел генерал. — Гуманист тоже нашелся. На то и война, чтоб гибли. Подтащить орудие, я приказываю!

— Есть, товарищ первый.

В это время пулемет умолк.

Отбив атаку, Чонкин снял пальцы с гашетки. И сразу наступила тишина до звона в ушах. Со стороны неприятеля тоже никто не стрелял.

— Нюрка! — обернулся Иван.

— Чего? — Нюра стояла, привалившись к хвосту, тяжело дышала, и лицо ее было красным и мокрым, как после бани.

— Живая, — улыбнулся ей Чонкин. — Ну отдохни маленько.

Было уже совсем светло, и он хорошо видел и тех, в грязных халатах, которые швыряли бутылки, и других в серых шинелях, которых было гораздо больше. Но все они лежали, не проявляя никаких признаков жизни, и даже ощущение опасности стало как будто бы проходить. Где-то громко закричал петух: ему отозвался другой, потом третий...

«Ишь как голосисто кричат», — думал Чонкин, не замечая, что артиллеристы подтягивают свою сорокопятку, прикрываясь уборной Гладышева, на которой было написано «water closet».

— Нюрка, — сказал Иван ласково, — отдохнула маленько?

— А чего? — Нюра утирала лицо концом полушалка.

— Принесла бы водицы. Попить охота. Только бегом, а то ишо подстрелят.

Нюра, пригнувшись, кинулась к избе.

Ахнул запоздалый выстрел, но Нюра была уже за углом.

Вбежав в избу, она первым делом обратила внимание на крышку подпола, но в этом смысле все было в порядке, пленники сидели внизу и никак не проявляли себя. Нюра зачерпнула из ведра воды, и в это время раздался такой оглушительной силы взрыв, что пол под ней перевернулся, и, падая, она слышала, как летели со звоном стекла.

41

Выстрел был очень удачным. Единственный снаряд угодил точно в цель. Бойцы по-прежнему лежали, прижавшись к земле и ожидая ответа со стороны противника. Ответа не было.

И тогда временно исполняющий обязанности командира первого батальона младший лейтенант Букашев поднялся на четвереньки.

— За Родину! — прокричал он хриплым от волнения голосом. — За Сталина! Ура-а!

Вскочил на ноги и побсжал по мокрой траве, размахивая пистолетом.

На какой-то миг замерло сердце, показалось, что он один и за ним никого. Но уже в следующее мгновение услышал он за спиной мощное «ура» и топот десятков ног. Тут же заметил он и второй батальон, который тоже с криком «ура» бежал рассеянной цепью по улице, третий батальон, обойдя деревню понизу, приближался со стороны реки.

Младший лейтенант Букашев со своими орлами первым перемахнул через ограду и ворвался на огород. То, что он увидел, показалось ему невероятным. Не увидел он горы вражеских трупов, не увидел сдающихся в панике солдат противника. Он увидел разбитый самолет, у которого правая верхняя плоскость была срезана осколком и висела на тонких тросиках, а хвост вообще валялся в стороне.

Недалеко от самолета на развороченной земле лежал красноармеец с голубыми петлицами, а над ним безутешно рыдала женщина в расстегнутой телогрейке и с растрепанными волосами.

Букашев остановился. Остановились и подбежавшие за ним бойцы. Задние привставали на цыпочки, чтобы рассмотреть, что происходит впереди. Младший лейтенант, смущенно потоптавшись, стащил с головы каску. Бойцы последовали его примеру.

Подошел и полковник Лапшин. Также снял каску. — Как фамилия этого красноармейца? — спросил он у женщины.

— Чонкин это Ваня, муж мой, — сказала Нюра, заливаясь слезами.

С грохотом подъехал бронетранспортер. Из него выскочили автоматчики и стали теснить красноармейцев, расчищая путь тяжело вылезавшему генералу. Разобрали часть изгороди, чтобы комдиву не пришлось задирать ноги. Заложив руки за спину, генерал не спеша прошел к самолету. Увидев лежавшего на земле Чонкина, медленно стаянул с головы папаху.

Подбежал полковник Лапшин.

— Товарищ генерал, — доложил он. — задание по ликвидации банды Чонкина выполнено.

71

— Это и есть Чонкин? — спросил Дрынов.

— Да, товарищ генерал, это Чонкин.

— А где же банда?

Полковник растерянно закрутил головой. В это время дверь избы отворилась, и несколько вооруженных красноармейцев вывели связанных людей в серых мундирах.

— Вот она, банда, — сказал сзади кто-то из красноармейцев.

— Какая же это банда? — появился откуда-то Ревкин. — Это наши товарищи.

— Кто сказал про них «банда»? — спросил генерал и взглянул в напиравших друг на друга красноармейцев.

В рядах произошло некоторое замешательство. Бойцы попятились. Каждый старался спрятаться за спиной другого.

— Развязать их! — приказал генерал полковнику Лапшину.

— Развязать! — приказал полковник младшему лейтенанту Букашеву.

— Развязать! — приказал Букашев бойцам.

— Где же все-таки банда? — спросил генерал, всем корпусом поворачиваясь к стоявшему сзади Ревкину.

— А это надо у него спросить, — сказал Ревкин и показал на подъезжавшего в двуколке председателя Голубева. — Иван Тимофеевич! Где же банда?

Голубев привязал лошадь к забору и подошел.

— Какая банда? — спросил он, с жалостью глядя на вчерашнего своего сабутьльника.

— Ну как же, — заволновался Ревкин. — Помнишь, я тебе звонил по телефону, спрашивал насчет вот товарищей, кто их арестовал? А ты мне сказал: «Чонкин со своей бандой».

— Я не говорил с «бандой», — нахмурился Голубев. — Я сказал «с бабой». С ней вот, с Нюрой.

Услыхав свое имя, Нюра зарыдала еще пуще. Горючая слеза упала на лицо Чонкина. Чонкин вздрогнул и открыл глаза, потому что был не убит, а только слегка контужен.

— Жив! Жив! — прошелестело среди бойцов.

— Ванечка! — закричала Нюра. — Живой!

И стала покрывать лицо его поцелуями.

Чонкин потер висок.

— Что-то я долго спал, — сказал он неуверенно и вдруг увидел над собой много любопытных лиц. Чонкин нахмурился и остановил взгляд на одном из стоявших над ним людей, а именно на человеке, который держал в руке папаху.

— Кто это? — спросил он у Нюры.

— А бес его знает, — сказала Нюра. — Какой-то начальник, я в их чинах не разбираюсь.

— Так это ж генерал, Нюрка, — подумав, сказал Иван.

— Да, я генерал, сынок, — ласково сказал человек с папашой.

Чонкин смотрел на него недоверчиво.

— Нюрк, — спросил он взволнованно, — а я. случаем, не сплю?

— Нет. Ваня, ты не спишь.

Чонкин ей не очень поверил, но подумал, что генерал есть генерал и к нему надо относиться соответственно даже во сне. Он пошарил по земле рукой и, найдя лежавшую рядом пилотку, напялил ее на уши. Поднялся на нетвердые ноги и, чувствуя легкое головокружение и тошноту, приложил растопыренные пальцы к виску.

— Товарищ генерал, — доложил он, глотая слюну, — за время вашего отсутствия никакого присутствия... — Не зная, что говорить дальше, он замолчал и, часто хлопая ресницами, уставился на генерала.

— Послушай, сынок, — сказал генерал, надевая папаху, — неужели ты один сражался с целым полком?

— Не один, товарищ генерал! — Чонкин подтянул живот и выпятил грудь.

— Значит, все-таки не один? — обрадовался генерал. — А с кем же?

— С Нюрой, товарищ генерал! — приходя в себя, рывкнул Чонкин.

Среди красноармейцев раздался смех.

— Кто там смеется?! — генерал разгневанно стрельнул глазами по толпе. Смех сразу стих. — Смеяться нечего, мать вашу так! — продолжал генерал, постепенно припоминая все известные ему выражения. — Раздолбаи трах-тарарах... целым полком не могли справиться с одним говенным солдатом. А ты, Чонкин, я тебе прямо скажу, — герой, хотя на вид обыкновенный лопух. От имени командования, так твою мать, объявляю тебе благодарность и награждаю орденом.

Генерал сунул руку под плащ-палатку, снял с себя орден и прикрутил его к гимнастерке Чонкина. Выгнувшись по стойке «смирно», Чонкин покосился на орден и перевел взгляд на Нюру. Он подумал, что хорошо бы сфотографироваться, а то ведь потом никто не поверит, что сам генерал вручал ему этот орден. Он вспомнил Самушкина, старшину Пескова, капитанармуса Трофимовича. Вот перед ними сейчас показаться!..

— Товарищ генерал, разрешите обратиться! — лейтенант Филиппов молодцевато кинул руку к виску.

Генерал вздрогнул и посмотрел на лейтенанта без особой приязни. Не успели развязать, а он уже лезет.

— Ну говори, — сказал генерал неохотно.

— Прошу ознакомиться с этим документом! — лейтенант развернул лист бумаги с дыркой в правом нижнем углу. Генерал взял бумагу и медленно стал читать. Чем больше читал, тем больше хмурился. Это был ордер. Ордер на арест изменника Родины Чонкина Ивана Васильевича.

— А где же печать? — спросил генерал, надеясь, что ордер не оформлен законным образом.

— Печать прострелена в бою, — с достоинством сказал лейтенант и потупился.

— Ну что ж, — сказал генерал смущенно, — ну что же... Если так, то конечно... У меня нет оснований не верить. Поступайте согласно ордеру. — Он отступил назад, освобождая путь лейтенанту. Лейтенант шагнул к Чонкину и двумя пальцами, как гвоздодером, вцепился в только что полученный орден. Чонкин инстинктивно попятился, но было поздно. Лейтенант дернул рукой и выдрал с орденом клоч гимнастерки.

— Свинцов! Хабибуллин! — последовала команда. — Взять арестованного!

Чонкина схватили под локотки. По рядам красноармейцев прошел шум. Никто ничего не понимал. Помня о роли командира как воспитателя, генерал Дрынов повернулся к личному составу и объявил: — Товарищи, мой приказ о награждении рядового Чонкина отменяется. Рядовой Чонкин оказался изменником Родины. Героем он притворялся, чтобы втереться в доверие. Ясно?

— Ясно! — прокричали бойцы не очень уверенно.

— Полковник Лапшин, — сказал генерал, — постройте полк и ведите на погрузку в эшелон.

— Есть, товарищ генерал!

Полковник Лапшин выбежал на дорогу и, встав спиной к деревне, вытянул руки по швам.

— Полк! — закричал он, дав сильного «петуха». — Побаталяонно, в колонну по четыре, становись!

Пока полк выстраивался на дороге, генерал вместе с Ревкиным сел в бронетранспортер и уехал. Уехал от греха подальше и Голубев.

Наконец полк построился и занял всю дорогу от одной околицы до другой.

— Полк, равняйся! — скомандовал полковник. —

Смирно! С места с песней шагом... — полковник выдержал паузу... — марш!

Грохнули сапоги о влажную дорогу. Из середины строя взмыл высокий голос запевалы:

Скакал казак через долину,
Через кавказские края...

И сотни голосов подхватили:

Скакал казак через долину,
Через кавказские края!

Мальчишки со всей деревни бежали вдоль строя и пытались подобрать ногу. Бабы махали платочками и утирали слезы.

Позади полка хромая кляча тащила пушку-сорокапятку, а за пушкой ехал на колесиках инвалид гражданской войны Илья Жикин в буденовке. Проехав до середины деревни, он махнул рукой и повернул обратно.

Вскоре после ухода полка жители Красного увидели выезжавшую со двора Чонкина полуторку.

Лейтенант сидел в кабине рядом с шофером. Остальные четверо держали за руки стоявшего в кузове Чонкина, который, впрочем, не вырывался.

За машиной, рыдая и спотыкаясь, бежала Нюра. Косынка сбилась на плечи волосы растрепались.

— Ваня! — кричала Нюра, давась от рыданий. — Ванечка! — и на бегу тянула руки к машине.

Чтобы прекратить это безобразие, лейтенант приказал шоферу ехать быстрее. Шофер прибавил газу. Нюра не выдержала соревнования с машиной и, споткнувшись напоследок, упала. Но и лежа, продолжала тянуть руку в сторону быстро удалявшейся машины... Сердце Чонкина зануло от жалости к Нюре. Он рванулся, но не тут-то было, его крепко держали.

— Нюрка! — закричал он, отчаянно мотая головой. — Не плачь, Нюрка! Я еще вернусь!

42

На закате того же дня кладовщик Гладышев вышел из дому, имея своей целью осмотр места недавнего сражения. И, проходя скошенным полем, за бугром, километрах в полутора от деревни, нашел он убитую шальной пулей лошадь. Гладышев сперва подумал, что это чужая лошадь, но, подойдя ближе, узнал Осоавиахима. Видимо, мерин был убит наповал — возле уха чернела враная рана, от которой к губам тянулась струйка застывшей крови. Стоя над мертвым меринком, Гладышев усмехнулся. Что греха таить, было такое — поверил он своему странному сну. Не то чтобы совсем, но в какой-то степени все же поверил. Уж так все совпало, что трудно было не пошатнуться в своих лишенных мистики убеждениях. Ведь это ж, кому рассказать, стыд и смех, стыд и...

Гладышев вдруг заметил, что на переднем копыте мерина нет подковы.

— Этого еще не хватало, — пробормотал он и, наклонившись, сделал второе открытие. Под копытом, примятый к земле, лежал клочок бумаги. Охваченный предчувствием необычайного, Гладышев схватил бумагу, приблизил к глазам и остолбенел.

Несмотря на густевшие сумерки и не очень-то острое зрение, селекционер-самородок разобрал написанные крупным неуставившимся почерком проступившие сквозь засохшие пятна грязи и крови слова: «Если погибну, прошу считать коммунистом».

— Господи! — вскрикнул Гладышев и впервые за много лет перекрестился.

1963—1970

Рассказывая недавно нашим читателям о себе, о своей работе, о своей писательской судьбе, Владимир Войнович счел нужным сделать такую оговорку: «надо иметь в виду, что я сатирик. Сатирик отличается от писателей, работающих в иных жанрах, тем, что он концентрирует свое внимание на темных сторонах жизни и негативных тенденциях. Он больше других заостряет существующие проблемы и даже доходит до крайностей. Без этого никакой сатиры быть не может» («Юность» № 10, 1988 г.).

Эта мысль кажется настолько очевидной, само собой разумеющейся, что невольно возникает даже некоторое недоумение: «Полно! Да стоит ли ломиться в открытую дверь, доказывая, что дважды два — четыре?»

К сожалению, однако, доказывать приходится. Потому что эта самая «дверь» у нас долгие годы была заколочена наглухо. И в самой потребности писателя В. Войновича сделать такую оговорку отразился горький опыт художника, с которым природа сыграла особенно злую шутку, наградив его сатирическим даром.

В краткой автобиографии, предвещающей одну из его книг, Войнович вспоминает свои первые шаги в литературе, реакцию критики на его раннюю повесть «Мы здесь живем», напечатанную в «Новом мире» в январе 1961 года: «...Наши бдительные критики, которые сразу разглядели во мне начинающего злоумышленника. Один из них в своей статье «Правда эпохи и мнимая объективность» уже тогда справедливо заметил, что действительность я изображаю приземленную, безрадостную и вообще придерживаюсь «чуждой нам поэтики изображения жизни, «как она есть». Поскольку я и дальше старался изображать жизнь, «как она есть», неприятности не заставили себя ждать. Уже в 1963 году один из главных идеологов хрущевской «оттепели», Леонид Ильичев, подверг разному мой рассказ «Хочу быть честным», после чего в центральных советских газетах («Известия», «Труд», «Строительная газета») появились сфабрикованные ими злобные статьи «передовиков производства» и Героев Социалистического Труда под заголовками: «Точка и кочка зрения», «Это фальшь!», «Литератор с квачом» (квач — это кисть, которой размазывают деготь).

Даже в сталинские времена на словах признавалось, что сатира нам нужна, необходима, как воздух. Однажды (в 1952 году) с самой высокой трибуны было провозглашено, что «нам нужны свои Гоголи и Шедрины». Но тогда же родилась и повсеместно повторялась сочиненная кем-то грустная эпиграмма:

Нам, товарищи, нужны
Подобнее Шедрины
И такие Гоголи.
Чтобы нас не трогали.

Эпиграмма эта очень точно отражала реальное положение дел. Несмотря на постоянные декларации и призывы к самой острой и беспощадной критике, с писателями-сатириками у нас всегда расправлялись особенно жестоко. Достаточно вспомнить о трагической судьбе самого крупного русского сатирика XX века — Михаила Зощенко. Объясняется это не только тем, что сатирик сосредоточивает свое внимание на темных сторонах жизни и негативных тенденциях.

Эпиграфом к «Ревизору» Гоголь взял старинную русскую поговорку: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Однако справедливости ради следует отметить, что природа сатирического произведения во многом определяется и некоторыми особыми свойствами «зеркала», порой весьма причудливо отражающего реальность.

У писатели-сатирика особое устройство глаза. Он видит окружающую его действительность не такой, какой она предстает взору автора психологического романа. Высказывалось даже предположение, что дело тут не столько в особом свойстве зрения, сколько в особых свойствах души. А кое-кому эти особые свойства представлялись даже неким душевным изъяном.

Вот, например, какой упрек замечательный русский писатель и мыслитель В. В. Розанов адресовал не кому-нибудь, а самому Гоголю: «Свое главное произведение он назвал «Мертвые души» и, вне всяких намерений, выразил в этом названии великую тайну своего творчества и, конечно, себя самого. Он был гениальный живописец внешних форм и изображению их, к чему одному был способен, придал каким-то волшебством такую жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, как за этими формами ничего

в сущности не скрывается, нет никакой души... Пусть изображаемое им общество было дурно и низко, пусть оно заслуживало осмеяния, но разве не из людей уже оно состояло?.. Гоголь выводит однажды детей, и эти дети уже такие же безобразные, как и их отцы, также лишь смешные и осмеиваемые, как и они, фигуры...»

И дальше: «На этой картине совершенно нет живых лиц: это крошечные восковые фигурки, но все они делают так искусно свои гримасы, что мы долго подозревали, уж не шевелятся ли они. Но они неподвижны... Это за них автор перешагивает ногами, поворачивается, спрашивает и отвечает, они сами неспособны к этому... Разве человек Плюшкин? Разве это имя можно применить к кому-нибудь из тех, с кем вел свои беседы и дела Чичиков? Они все, как и Плюшкин, произошли каким-то особым способом, ничего общего не имеющим с естественным рождением: они сделаны из какой-то восковой массы слов, и тайну этого художественного делания знал один Гоголь».

Последнее утверждение вряд ли справедливо. Не хочется соглашаться с мыслью Розанова, будто гоголевские персонажи не живые люди, а «восковые фигурки», кажущиеся живыми лишь благодаря гению Гоголя и его словесному мастерству.

Но в одном Розанов как будто прав. В самом деле: каким бы дурным ни было изображаемое Гоголем общество, сколь ни заслуживало бы оно осмеяния, но все-таки не из одних же Плюшкиных, Маниловых, Коробочек и Собакевичей оно состояло! В описываемую Гоголем эпоху были ведь и другие помещики — высокообразованные, умные, великодушные, щедрые: братья Тургеневы, например, которые хотели отпустить на волю своих крепостных. И разве не из той же дворянской, помещичьей среды, из которой вышли все эти Собакевичи и Ноздревы, явились Державин, Кутузов, Пушкин, Грибоедов, Толстой, наконец Пестель, Рылев, Каховский, Бестужев, Муравьев-Апостол... Так вправе ли был Гоголь нарисовать такую тенденциозную, такую одностороннюю и уродливую картину современной ему русской жизни?

А Фовизизм? Неужто только из Простаковых и Скотининых состояло сословие, которое было предметом его художественного наблюдения и изображения? А Грибоедов? Одиноким, затравленный Чацкий, окруженный толпой чудовищ, нравственных уродов. Как иначе назвать всех этих Молчалиных, Скалозубов, Репетиловых, Загорецких, князей и княжон Тугоуховских! На их фоне и сам Чацкий часто выглядит смешным, потому что именно перед ними он рассыпает сокровища своего едкого, язвительного ума. Впрочем, даже в уме его сомневался Пушкин, скептически замечавший, что уминый человек не станет метать бисера перед Репетиловыми. А перед кем еще было ему метать этот свой бисер? Репетилов-то ведь еще не из худших. Так, может, и Грибоедов был несправедлив, так зло, так карикатурно изображая современное ему русское общество?

Нет! Требовать от писателя-сатирика, чтобы он представил в своих сочинениях объективную картину жизни, где тщательно взвешено и соразмерно положительное и отрицательное, светлое и темное, — все равно, что от художника-карикатуриста требовать, чтобы его шаржи были неотличимы от хорошо отретушированных портретов или групповых фотографий.

— Но позвольте! — спрашивается тут естественный вопрос. — Разве фотография не самое точное, не самое объективное отражение реальности? Недаром же оптический прибор, составляющий главную принадлежность фотоаппарата, так и называется объектив! А коли так, значит, вы сами признаете, что писатель-сатирик не объективно отражает реальность, а искажает ее. Как же в таком случае обстоит дело с утверждением писателя Войновича, будто он всегда старался изображать жизнь «как она есть»? Разве нет тут непримиримого противоречия?

Нет, никакого противоречия тут нет. Потому что сочинения Фовизизма, Грибоедова, Гоголя, Щедрина — такое же правдивое отображение современной этим писателям российской действительности, как «Герой нашего времени» Лермонтова, «Отцы и дети» Тургенева, «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого.

Писатель-сатирик действительно искажает, деформирует изображаемую им реальность. Но делает он это с той же целью, какую ставит перед собою автор психологических повестей и романов: чтобы как можно резче и выразительней запечатлеть в создаваемых им художественных образах понятую и увиденную им правду.

Бenedикт САРНОВ



ТРАГЕДИЯ

Борис
ЧИЧИБАБИН

Третий псалом Армении

У самого неба, в краю, чей окранный свет любовь мою к миру священно вечает и множит, есть памятник горю — и странный его силуэт раздумье сулит и нигде повториться не может.

Подъем к нему долг, как приготовление души, им шествуют тени, что были безвнио убиты, в их тихой молитве умолкли ума мятежи и чувством вины уничтожено чувство обиды.

Не в иррадианном блеске и не в суете площадной является взорам, забывшим про казни да войны, тот памятник людям, убитым за то лишь одно, что были армяне — и этого было довольно.

Из братских молчаний и в скорби склоненных камней, из огища веры и реквиема Комитаса он сложен народом, в ком сердце расщедка умней, чьи тонкие свечи в обуглении краме дымятся.

Есть памятник горю в излюбленной Богом стране, где зреют гранаты и кроткие овцы пасутся, — он дорог народу, и тем он дороже вториче, что многих святых не дано ни узреть, ни коснуться.

Во славу гордыни я сроду стихов не писал, для вещего слова мучений своих маловато, — но сердце-то знает о том, как горька небесам земная разлука Армении и Арарата.

О, век мой подудный, в лицо мое кровью плесни! Зернистая тяжесть нагнулась под злом стародавним и плачет над жертвами той беззаветной резни поющее пламя, колеблемое сострвданием.

Какая судьба, что не здесь и родился! А то б и мне в этот час, ослепленному вестью печальной, как древнему Ною иочудился новый потоп и белые чайки над высью ковчега причальной.

г. Харьков

1984 г.